Бубновый валет

Автор:
Владимир Орлов

Бубновый валет

Владимир Викторович Орлов

«Бубновый валет». Одно из лучших произведений в творчестве классика современной литературы Владимира Орлова. Роман, сочетающий острый сюжет и реалии нашей истории. Завораживающее читателя повествование о любви, загадках человеческой души и вечных ценностях.

Владимир Орлов

Бубновый валет

1

Милостивые сударь и сударыни, спешу выразить Вам признательность за то, что Вы, согласившись с потерей или даже с проигрышем времени, решились познакомиться с историей, о которой я принялся теперь рассказывать. Очень может быть, что интерес к ней у Вас тотчас и увянет, хотя бы и из-за несовершенств рассказчика, но вдруг – пусть и одного любопытствующего – она увлечет вглубь себя? И того будет довольно.[1 - Как публикатор записок Василия Куделина обязан сообщить, что все события и персонажи их автором выдуманы. Однако не исключено, что подобная история могла произойти в многовариантности нашего бытия. – Владимир Орлов.]

Для меня эта история началась летним днем 196… – го года. В холле шестого этажа, у выхода на парадную лестницу редакционного здания, меня остановил Глеб Ахметьев.

– И тебя, говорят, К. В. одарил фарфоровым изделием?

– Одарил, – нахмурился я.

– Четырех уже убили. И ты туда же?

– Каких это еще четырех?

Ахметьев назвал убиенных. Фамилии двух из них я услышал впервые, по какой причине и как их убили, было мне неведомо. Двух других я знал, но одна из них сама отравилась уксусом, второй же мой знакомец весной повесился.

– Не ты ли, Глеб, и убивал?

– Не способен, Вася, не способен! – вздохнул Ахметьев. – А жаль. Жаль! Способен лишь поднести ко рту ореховую трубку.

Он и поднес ко рту трубку. Если верить молве, федоровскую.

– А при чем тут фарфоровое изделие?

– Существует предположение, – сказал Ахметьев. – Событийная связь… Но не ожидал я, что именно ты, Василий, отправишься к К. В. унижаться, сознавая, что поход твой толку не даст.

Слова Ахметьева вызвали у меня недоумение и обиду. Ему ли, благополучному гордецу, воспалявшему в иных зависть, попрекать меня, да еще и в месте почти публичном, пусть сейчас пустынном, но где в любую секунду могли возникнуть спешащие по делам слушатели?

– Я раб низкий, – сказал я тихо, – а обстоятельства заставляют меня усмирять гордыню.

Ахметьев промолчал, вкушал капитанский табак. Стоял метрах в десяти от меня, надменный, бледноликий, вновь вызывавший у меня мысли отчего-то об удрученном Чаадаеве. Или о печальном байроновском Манфреде. (Агутин говорил: «Встал Глеб в позицию Шатобриана». Но знал ли Агутин что-либо о Шатобриане?) У редакционных уборщиц Ахметьев имел прозвище Барин. Однако не здешним уборщицам он был обязан этим прозвищем.

– Не позволишь ли ты мне взглянуть на подарок К. В.? – спросил Ахметьев.

– Я его выбросил! – буркнул я.

– Напрасно ты не хочешь мне его показать, – сказал Ахметьев. – Я бы его рассмотрел. Дал бы тебе совет. И, возможно, уберег бы от неприятностей.

– Сам себя уберегу…

– Глеб Аскольдович! Глеб Аскольдович! – выкрикнула из коридора секретарша Ахметьева Лиза. – Вас к телефону! Срочно!

– Меня нет, – сказал Ахметьев. – Я на улице Хмельницкого.

– Это из канцелярии Климента Ефремовича! – Лиза появилась в холле.

– Для этой свиньи меня тем более нет, – брезгливо произнес Ахметьев, горло и кадык его дернулись, будто мысли о свинье и его канцелярии могли сейчас же вызвать рвоту Глеба Аскольдовича.

– Но как же! Как же! – взмахнула руками Лиза. – Там ведь малые сроки!

– Ну ладно! – бросил с досадой Ахметьев и двинулся вслед за Лизой к омерзительным для него общениям с бывшим первым маршалом. Мне же отослал на ходу: – Не забывай: четырех уже убили!

А я поднялся на седьмой этаж, к себе, в Бюро Проверки.

2

Ночью, после службы, мне предстояло дожидаться явления снизу, из типографии, сигнального экземпляра газеты. Тогда всех дежурных по номеру должны были автомобилями развозить по домам.

Я сидел в безделье, листал купленную утром монографию Некрасовой о Тернере, но без внимания к почитаемому мною художнику, а думал об Ахметьеве и его словах.

В редакции шутник шутника погонял, розыгрыши были способом сохранения житейской энергии и добродетели, но Глеб Аскольдович Ахметьев в публичных остряках у нас не числился. В свои двадцать восемь он выглядел на сорок лет, казался человеком, пережившим многое, хмурым и замкнутым на себя. Шутил он, по крайней мере в моем присутствии, редко, а остроты его походили на туманно-кружевные эпиграммы («английский, аристократический юмор». Лана Чупихина) и лишь иногда – на злые эпитафии. Но не мог же он всерьез говорить мне о четырех убиенных с намерением уберечь меня от неприятностей. Наверняка он ехидничал и поддразнивал меня, что, впрочем, было ему не свойственно. И непонятно все же было, зачем ему понадобилось досаждать или даже злить меня напоминанием об унизительном походе к К. В.? Глупость какая-то…

Должен заметить, что нынешние записи свои, о причинах и целях коих я обязан сообщить позже, я произвожу лет через тридцать после случившегося. За эти годы я побывал во многих исторических и личностных передрягах, многое увидел и ощутил своей шкурой, а потому миропонимание мое и принципы изменились. Тогда же я пребывал в жизни прекраснодушным и романтизированным юнцом, чьи уши требовали ежедневного повторения «Марша энтузиастов» и не удивлявшимся уверениям Никиты Сергеевича в том, что в году восьмидесятом непременно наступит изобилие провизии, обуви и доброты, а зло само по себе иссякнет. Это теперь основным разделом сведений о ежедневной маяте общества является криминальная хроника. В ту же пору слова о четырех убиенных, да еще и находящихся в событийной связи с фарфоровыми изделиями, казались смехотворными. Чушью казались. Не произвел ли себя Ахметьев в графа Томского, а меня – в инженера Германна, и не будет ли он теперь вышептывать или выкрикивать из-за углов: «Четырех уже убили! И ты туда же?»

Я хотел было вынуть из сумки приобретение от К. В., рассмотреть его повнимательнее, но отказал этому намерению.

Номер был нынче простой, спокойный, без экстренного прибытия тассовских восковок с официальными документами, потребовавшими бы переверсток первой, а то и остальных полос. А потому сигнал пришел в два ночи, и я спустился в приемную Главной редакции. Был готов задать вопросы Глебу Ахметьеву, коли бы он там оказался. Но нет, по отделу Глеба дежурил Мальцев. Меня определили в машину для развоза именно с Мальцевым, Башкатовым и Чупихиной, а стало быть, высаживать первым следовало меня.

Мы докатили до угла Трифоновской и Третьей Мещанской. Шофер Володя спросил:

– Ну что? Подбрасывать тебя в переулок, к дому? Или…

Заезжать в переулок желания у него явно не было, да и пассажиры «Волги» зевали.

– Я здесь выйду, – сказал я.

– Ну смотри… – словно бы в сомнениях произнес Володя. – А то ведь дождь и темень…

– Он не из тех, кто может размокнуть или убояться, – пропела Лана Чупихина, одна из наших редакционных красавиц. – Ведь так, Василек?

– Уже и Василек? – удивился Мальцев.

– А кто же он? Василек! – подтвердила Чупихина. – Василек и есть!

– Василек, Василек! – успокоил я Мальцева и захлопнул дверцу «Волги».

Дождь сыпал мерзкий. Застегнув молнию куртки, вздернув воротник, я стал подниматься Третьей Мещанской к своему переулку мимо холма с церковью Трифона в Напрудном, в чьей истории имелся сюжет с участием Грозного Ивана и его соколов. Холм был некогда высоким берегом речки Синички, упрятанной

под асфальты. В часы гроз и ливней Синичка именно здесь выбурливала люками из недр, создавала пруд, останавливавший движение трамваев и позволявший ребятне плавать посреди Трифоновки. (И я плавал.) А однажды здешний холм стал берегом то ли Волги, то ли Каспийского моря. Снимали «Вольницу» по Гладкову, нагнали массового мосфильмовского простонародья начала века с разноцветьем костюмов, «языки многие и одежды»; с удивлением и беспокойством прохаживался в толпе, не оживленной еще мотором, ученый верблюд, приведенный олицетворять заволжские степи и пустыни матушки-России и ее киргиз-кайсацкой орды.

– Эй, мужик! Подойди к нам! – грубо и властно оборвали мои видения.

Трое мужчин или парней стояли на моем пути, в темени, очередной фонарь служил обществу метрах в пятидесяти за ними. Слева от меня через улицу был проходной двор, каждой штакетиной мне известный. Следовало сейчас же рвануть туда, но я посчитал, что так будет нехорошо.

– Будь добр! – произнес второй из поджидавших меня.

– Ну и что? – подошел я к ним.

– Давай-ка сумку, а сам можешь уматывать! – это приказал первый, дерганый, самый высокий и тонкий из троих, он намеренно гнусавил и растягивал слова, такие суетятся и нервно кричат, а делают маленькие. (У третьего, маленького, судя по движению его руки, наверняка был нож, а то и пушка.)

– Сумка мне тоже нужна… – сказал я. Кепки были надвинуты на глаза, лица чернели.

– Нашли кого грабить, – проворчал я и бросился через улицу к проходному двору.

Однако меня быстро остановили подсечкой и, свалив, принялись бить ногами и кулаками, производя удары со знанием дела. А кто-то и шарил в карманах.

Очнулся я быстро. Приподнявшись на локтях и сидя на мокрой мостовой, я наблюдал за тем, как трое рылись в моей спортивной сумке из крашеного брезента.

– Эй! – крикнул я, пытаясь встать. – Блокноты выбросьте. В них для вас пользы нет. И книжку с картинками, она вам будет скучна.

– Да возьми ты все! – швырнул мне сумку коренастый, минутами назад предлагавший мне быть добрым.

Приказав себе забыть о боли, что в состоянии возбуждения исполнить было возможно, я прихватил сумку и бросился в проходной двор первого и третьего домов по Солодовникову переулку. И вовремя. «Идиот! Догони! Отбери! Останови его! В его блокнотах, может быть, важное! – закричал высокий и нервный. – Да и сам он теперь лишний! Не понимаешь, что ли!» Меня искали. Но сколько раз, еще в первых классах, я играл здесь в партизан маршала Тито, лучшего друга Сталина, и скрывался от гитлеровцев с их хорватскими прихвостнями! Минут через сорок я неслышным лисом проскользнул через переулок в свой двор.

В квартире все соседи спали. Родители до середины октября пребывали в своих садах и огородах. Я включил свет на кухне. Смыл кровь с лица, ваткой, смоченной одеколоном, протер ссадины, подержал пятак под левым глазом, жаль, что в аптечке не было бодяги. Обычно, возвращаясь с работы ночью, я пил на кухне чай. Нынче делать этого не стал, опасаясь, как бы не вышел по нужде из своей комнаты сосед Чашкин и не начал бы ехидничать, разглядывая мою физиономию. Отношения с Чашкиным были у меня отвратительные.

К моей радости, монография Некрасовой о Тернере повреждений не получила. Три с половиной рубля уцелели. И дело было не в рублях. Книжку о Тернере я давно ждал, и, наконец, она вышла, а я ее достал. Блокноты мои были испачканы и вроде бы помяты. Футбольную форму выпотрошили из пластикового пакета. Я ее вообще зря брал на работу. Недоставало в сумке лишь одной вещи – сегодняшнего фарфорового приобретения.

«Что же мне вручил-то К. В.? – соображал я. – Как будто бы солонку… Птицу странную, соль из нее должна сыпаться из глаз и клюва…»

Лица трех разбойников я не разглядел. Но голоса их, двоих из них, я услышал. А на голоса и звуки память у меня была хорошая. И я не мог забыть, как были произнесены слова: «Да и сам он теперь лишний!»

3

Полагаю, пришла пора сообщить о том, кто такой К. В. и что это за фарфоровые изделия, давшие повод для ехидств и малообъяснимых опасений Глеба Ахметьева.

К. В. – это Кирилл Валентинович Каширин, первый заместитель главного редактора газеты с тиражом в десять с лишним миллионов экземпляров, большой человек, располагающий правами казнить всякую мелочь и эту же мелочь миловать.

А фарфоровые изделия были частью фонда так называемого Музея газеты. Музей этот, надо сказать, – особенный, представлял собой собрание главным образом подарков друзей и героев газеты, космонавтов в частности, и всяких диковин и реликвий, добытых нашими журналистами в командировках. Первые экспонаты случились или образовались еще в довоенные времена и связаны были со спасением челюскинцев, папанинским дрейфом, даже серо-бурый свитер Чкалова хранился в залежах музейного запасника, то бишь в одной из обычных редакционных кладовок. Потом пошли приобретения фронтовые, из-под Вязьмы, из-под Сталинграда, из Кенигсберга (мы с Серегой Топилиным, отправленные года три назад в архивы Музея обороны Царицына и Волгограда за неопубликованными документами, и то приволокли в Музей (наш) осколки и дырявленую каску с Мамаева кургана, еще не облагороженного Вучетичем). Теперь в коридоре на подходе к Главной редакции, то есть к кабинетам Главного и трех его замов, в четырех отсеках под стеклами можно было увидеть макеты атомных подлодок и ледоколов, автографы Гагарина, Кастро, Шолохова, отбойные молотки рекордсменов-стахановцев, набедренные повязки диких амазонских индейцев (доставки сеньора Олега Игнатьева), сушеных морских звезд от берегов Антарктиды, пачку балерины Бессмертновой и прочее, и прочее. Попадали (понятно, что в музейные запасники) и предметы курьезные, достойные редакционной кунсткамеры. Как правило, поставляли их сидельцы из отдела науки. И прежде всего – шустрый Владик Башкатов. Именно к ним приходили изобретатели, снимальщики порчи, связные пришельцев, телепаты, оглашенные, колдуны, в ту пору повсеместно гонимые. А вот в нашем отделе науки к ним относились с доброжелательным вниманием, на мой взгляд, не всегда оправданным, за что, случалось, получали распекаи от курирующих нас чинов. Но иногда изобретатели своими открытиями и капризами все же

допекали и наших ученых мальцов, вынуждая их к действиям, вовсе не доброжелательным. Однажды их посетил отставной полковник. Существовал тогда в природе такой социальный тип (с утра голодный – сужу по нашему буфету, – а к вечеру сытый драматург Софронов сейчас же состряпал про него народно-ростовскую драму). Приметы его были такие: мужик лет пятидесяти, крепыш, большеголовый, лысый, или бритый наголо, или седой, но коротко стриженный, в жару – с носовым платком (узелки на углах) на башке, в китайских синих брюках и ковбойке навыпуск, громкогласный правдолюбец, лезущий во все дыры и что-то изобретавший. Тот «полковник», о ком я вспомнил, первым делом потребовал, чтобы все сотрудники отдела науки подтвердили ему, что беспартийных среди них нет, что, на худой конец, все они комсомольцы. Только тогда он имел право сообщить им о своем открытии мирового стратегического значения. А изобрел он способ свободного и безопасного опускания любого тела, в том числе и человеческого, с любых высот на любой клочок земли без парашютов и прочих планирующих устройств. Владик Башкатов переписывал полуграмотную статью, был в раздражении, бросил: «Покажите изобретение в действии! Спуститесь на пол хотя бы с моего стола!» – «Вы мне не верите… – расстроенно выдохнул изобретатель. – А другие мне верили…» – И он достал из портфеля ворох грамот и дипломов, подтверждающих его государственную и надтелесную ценность. «Мы вам верим, верим! – теперь уже раздосадованно заторопился Башкатов. – Но ведь не хотелось бы и усомниться…» Он подошел к окну, открыл его, сказал: «Вот что. Вы отдаете свой портфель. Для чистоты опыта. Вдруг в нем парашют. Наш этаж шестой. На подъем даем пять минут. Ждем вас в коридоре. И как только вы вернетесь, пишем репортаж о вашем изобретении прямо в номер». Ребята быстро выскочили из кабинета, Башкатов запер дверь на ключ. Через минуту изобретатель забарабанил в дверь. «Прихватило! Прихватило! – восклицал он. – Где у вас туалет?» И унесся в сторону туалета, более его не видели. Еще один, показавшийся чайником, явился демонстрировать аппарат, созданный им для назидания начальникам, БКС-6, бюрократокосилку. Косить аппарат обязан был не самих бюрократов, а их бумаги – входящие, исходящие, согласующие, прочие. «Валяйте, валяйте, показывайте!» – благодушно поощрил Башкатов посетителя. Изобретатель достал из чемодана с нищенскими фибровыми боками сооружение, сбитое из четырех фанерин, на колесиках, умеющих, как выяснилось позже, не только ездить, но шагать и обшагивать предметы. Внутри фанерок крепились на веревочках и резинках лезвия, половинки безопасных бритв и какие-то зубья. Был там еще и жестяной бачок. «Сейчас, сейчас, подожжем спиртовку и нагреем мотор», – неспешно объяснил изобретатель. Зрители приготовились к длительному созерцанию действий аппарата. Тот взревел, заверещал, зазвякал металлом, завертелся на месте, задымил, но тут

же бросился в поход по столам. В тесноте кабинета столы были придвинуты друг к другу, и аппарату не было необходимости прыгать по крышам вагонов, он просто перебирался со стола на стол («Не трогайте его! – кричал изобретатель. – Пальцы отхватит!»), и через пять минут дело было сделано. Рукописи, правленые и неправленые, письма читателей и ответы на них, казенные бумаги со штампами и печатями – все было превращено в крошки, в отруби, в опилки. «А-а-а! Каково!» – торжествуя, восклицал изобретатель. «Да… – протянул помрачневший Башкатов. – Это у вас и не косилка, а потрошитель…» Изобретатель от своих щедрот был готов снабдить все отделы персональными Бэкаэсами, но Башкатов согласился принять от него лишь один экземпляр. Позже он заходил к членам редколлегии с намерением привести Бэкаэс в их кабинетах в трудовое состояние. Но его гнали, ссылаясь на жару и обременительную занятость. Сошлись на мнении, что косилку следует сберегать в Музее. В Кунсткамере. Туда ее и сгрузили.

Коллекция же фарфоровых изделий попала в Музей следующим образом. Света Рюмина из отдела информации обнаружила собирателя Кочуй-Броделевича Николая Митрофановича и написала о нем заметку. Вся квартира этого Кочуй-Броделевича, одинокого инженера-мостовика, была заставлена солонками. Сотнями солонок. Рюмина увидела солонки самых разных форм и размеров, созданы они были во многих странах и истории имели примечательные. Слабость к солонкам проявил еще отец нашего Кочуй-Броделевича, унаследовав ее от отца, строившего Великую Сибирскую магистраль под началом Гарина-Михайловского. Педанты-коллекционеры не признавали собрание Кочуй-Броделевича чистым и, стало быть, ценным и не допускали его вещицы на выставки и в каталоги. Действительно, кроме солонок у Кочуй-Броделевича хранились еще просто фарфоровые изделия, вовсе не солонки, а сами солонки его не все были из фарфора, имелись среди них экземпляры пусть и забавные, но из глины, из металла, из обыкновенного стекла, из соломки, наконец. То есть собрание его было и не собранием солонок, и не собранием фарфора, а так, чем-то промежуточным. Публикация Рюминой, да еще и с фотографиями, взбодрила и обрадовала старика (по моим тогдашним представлениям – старика, стариком он не был). А позднее его и его солонки показали по телевизору. Но потом он неожиданно умер. И выяснилось, что собрание свое он завещал нашей редакции как истинной хранительнице отечественной культуры и наказал включить его частью в фонды Музея. Месяца через три исполнители подняли на шестой этаж несколько серьезных фанерных и картонных коробок с дарами Кочуй-Броделевича. «Да куда же их девать-то! Да чтоб этот Броделевич со своими солонками!..» – бранились хозяйственники. Кабы мог услышать их тихий чудак Кочуй-Броделевич! Но увы… Или, напротив, к счастью… «Да не орите! – отвечали

хозяйственникам. – Толку от вас, как всегда, никакого! Вот скоро съедет „Огонек“ в журнальный корпус у Савеловского. Их Белый зал и кабинеты отойдут к нам. Там, наконец, и разместят Музей». Ну а пока? А пока? Хозяйственники взвыли и пошли жаловаться к К. В. – материальные ценности были в его ведоме. «А пока поставьте коробки ко мне в комнату отдыха!» – распорядился К. В. В тот вечер К. В. был весел, сыт, здоров и благорасположен к неожиданному и невыгодному для себя жесту.

Попасть в комнату отдыха К. В. я, естественно, не мог. При всех кабинетах главных – самого Главного и трех его замов – со времен войны имелись комнаты отдыха с ванной, туалетом, диваном, столом для трапез, гардеробом; кабинеты в войну становились квартирами. К. В., рассказывали, завел себе шведскую стенку для поддержания физических совершенств. Может, рядом покачивалась и боксерская груша. В соседи к ним в апартаменты К. В. и занесли коробки Кочуй-Броделевича. Дуся Кулагина, определенная в общественные хранители Музея, захотела было провести инвентаризацию новых единиц хранения. Но ей драматически указали: «Не суйся ты как дура! Не лезь сейчас в коробки! А то он передумает и вышвырнет их в коридор!»

Понятно, что вскоре о даре Кочуй-Броделевича забыли, для нас он был ничем не примечательнее, нежели сушеная морская звезда из водяной Котловины Беллинсгаузена. А если и вспоминали о нем, то лишь в рассуждении – долго ли К. В. сможет вытерпеть коробки. Владик Башкатов, изучавший натуру К. В., утверждал, что недолго. Недели две от силы. И то – при благонамеренном развитии стихий. А уж если просыпется вдруг град из начальственных туч, или, не дай Бог, неведомая нам новая очаровательница откажет К. В. в проведении именин сердца, то он и вышвыривать коробки не станет, а в досаде перебьет в них все фарфоры. Да, утверждал лукавый и прозорливый Башкатов, К. В. приобрел свойства степенного государственника и далеко пойдет, но мальчишка, гонявший на мотоциклах и сигавший с неба на парашютах, из него никуда не делся, не утихомирился и свободы К. В. окончательно не дал. А я вспомнил, как проводили мы юбилей редакции в Доме журналиста. Прежде чем перейти к столам в ресторане, ради чего и собрались, сидели в Мраморном зале в занудстве обязательных слов. Наконец добрались до модной тогда лотереи. С розыгрышами не только шуточных предметов, но и вещей относительно ценных, на них продавали билеты. К. В. сидел на сцене главным, все призы лежали перед ним, лотерейщик вел дело медлительно и скучно. К. В. вдруг вскочил: «К застолью, братцы, к застолью! В ресторан! Хватит! Это нам-то зависеть от слепого жребия! Никогда! Мы все на равных! А потому – на шарап! Всё – на шарап!» И принялся разбрасывать призы в народ. Он и запомнился мне

воодушевленным, провозглашающим: «На шарап!»

Владик Башкатов считал дни, но прошло две недели, и ему пришлось признаться в своем конфузе. «Не ожидал я этого! – сокрушался он. – Не ожидал!» И тут совершенно неожиданным образом произошло явление публике предмета из коллекции Кочуй-Броделевича.

Лена Скворцова из отдела учащейся молодежи ходила на прием к К. В. и вернулась от него в задумчивости и удивлении. Пошла же она к нему с просьбой дать ей командировку в Курган. Материал для статьи она могла собрать и в Рязани, и в Ярославле, даже и в Москве, но Курган ее манил по причине приватных интересов. К. В. это понял. Лена Скворцова была девушка симпатичная, а К. В. одно удовольствие было подтрунивать над симпатичными и смазливыми. В конце собеседования он заявил, что конечно, конечно, не сейчас, но когда-нибудь Лена обязательно поедет в Курган, он обещает, и, чтобы нынче карие очи Лены не затуманивались слезами, он вручает ей фарфоровый сувенир, и опустил в руки Скворцовой ласковую пастушку с ягненком. Оказалось, что солить можно и из пастушки, и из ягненка. А ягненок был способен и на рассыпку молотого перца. Владик Башкатов, узнавший о событии с опозданием, бросился к Лене Скворцовой со словами, объяснявшими его интерес, и обнаружил в подножье пастушки выведенный черной тушью № 23. Надо полагать, что Кочуй-Броделевич или кто-то, приглашенный им, все же проводили инвентаризацию собрания и постарались составить ряды. «Ну Кирилл Валентинович! – восхищался Башкатов. – Ну дает! Выдержка-то какая!» Но и потом, месяцев пять, К. В. содержимое коробок Кочуй-Броделевича не курочил, а лишь потихоньку и по настроению раздаривал. Иные, приходившие к нему с просьбами о жилье, внесезонном отпуске, непредусмотренном маршруте командировки и пр. (не все, не все!), случалось, выслушивали отказы и ехидства К. В. Но кончались отказы утешениями Кирилла Валентиновича, снятием нервических напряжений, кому и с предложением коньяка, обещанием «не сейчас, но позже» и фарфоровым даром.

В нашей газете работали тогда молокососы, каждому – немногим за двадцать, лишь треть редакции составляли ветераны (за сорок) с довоенным или военным прошлым. Те, что поярче, уходили во взрослые («богатые») газеты, остававшиеся с нами не поднимались выше начальников средних значений. Всем главным и членам редколлегии либо не так давно исполнилось тридцать лет (К. В., например, сравнялось тридцать четыре), либо вот-вот должно было исполниться. Ко всему прочему большинство нынешних работников учились на

факультете журналистики, пусть и на разных курсах, но знали друг друга студентами, да и в какие годы – шалые, весело-мечтательные, с брожением умов и идеалов, свержением с трибун, с должностей сановных подлецов и дуроломов. А потому и в государственной уже конторе чинособлюдения считались дурным тоном. Ни на каких дверях не висели таблички, делящие на разряды и звания, вроде «Прием по личным вопросам от 15 до 17 часов». Надо было лишь подойти к Тоне Поплавской, референту Главной редакции, высказать ей свои пожелания и подождать звонка со словами: «О. Б. (или К. В.) могут сейчас с тобой поговорить. Двадцать минут. Давай…»

4

И мне приспичило явиться на прием к Кириллу Валентиновичу. Предприятие мое было безнадежным. Но мне ничего не оставалось делать, кроме как грязными ботинками, их подметками в глине с дерьмом растоптать, растереть все свои комплексы и за шиворот ввести себя в кабинет К. В. Я уговаривал, успокаивал себя: «Что особенного-то? Что необыкновенного? Надо лишь соблюсти правила протокола, обязательность заведенного порядка. Всем это предстояло. Или предстоит… Ишь выискался какой душевно тонкий!»

Я уже сообщал мимоходом, что все хозяйственные и материальные дела редакции находились в ведоме первого зама, К. В. Конечно, все мог перерешить Главный, но подобное случалось редко. Или не случалось вовсе.

Я приоткрыл дверь в кабинет К. В. Он был один.

– А, это ты, Куделин, – сказал К. В. – Заходи. Давай бумагу. Садись.

Я присел. Сам К. В. полулежал в кресле сбоку от обязательных форм стола для ежедневных заседателей, покрытого синим сукном, колени выставив вверх. Он отделился от четырех своих телефонов и вроде был не на посту, а отдыхал. Текст моей слезливой челобитной был безукоризненно банальный и не предполагал долгого чтения, но К. В. все держал бумагу перед глазами. Может, исследовал почерк автора в намерении открыть глубины моей натуры. Я же разглядывал его кабинет. Здание наше было построено в начале тридцатых модным тогда архитектором-конструктивистом Голосовым, его поминали в своих

монографиях искусствоведы. Но интерьеры редакции были убого-провинциальные, самого что ни на есть мелко-чиновничьего стиля, с дальними и угодливыми отражениями вкусов сановников кремлевских и министерских значений. То и дело возникали разговоры о грядущих ремонтах, должных превратить шестой этаж в истинно журналистский офис второй половины столетия. Но пока обиталище К. В. походило на скучнейшее трудовое пространство какого-нибудь начальника ситцевого главка, и было в нем нечто промежуточно-временное. Или временно пребывал здесь сам К. В., достойный куда более замечательных мест умножения государственной энергии?

– Сколько ты у нас работаешь? – спросил К. В.

– Четыре года, Кирилл Валентинович. – Я готов был вскочить и расположить руки по швам. – Почти четыре…

– Немного, немного… – К. В. принялся раскачиваться в кресле. – Стаж у тебя, Куделин, мелкий… Мелкий… К тому же ты у нас не творческий работник…

– Не творческий, – кивнул я.

– Ты скорее технический работник…

– Да, я скорее технический работник, – поспешил согласиться я. Сидеть вблизи К. В. мне было неловко. Я ощущал себя Акакием Акакиевичем, вынужденным объясняться с генералом. Поверьте, хотя нынче это сделать трудно, тогдашнее мое уравнение себя с маленьким человеком, Акакием Акакиевичем, было совершенно осознанным и нисколько не искажающим истинное состояние моих чувств. И разницы в наших хлопотах и упованиях не было никакой. Ну разве что Башмачкин пребывал в стараниях о шинели, а я – о квартире. Но квартира, пусть самая крохотная, никудышная и убогих свойств, была для таких, как я, то есть для тьмы тем, именно шинелью Акакия Акакиевича. Сколько людей в ту пору в усердиях добыть квартиру и существовать сносно погубили душу и сломали судьбы, и собственную, и домашних. Не забуду Рашида, беспалого пространщика из Ржевских бань, долго вымаливавшего в присутствиях жилье, а потом, в отчаянии, спалившего дом, деревянный, одноэтажный, наискось от моего. У Рашида был расчет: его посадят, но жене его с четырьмя детишками как погорельцам дадут квартиру. Рашида посадили, в лагерях он сгиб, а его погорельцев подселили в коммуналку в семейной Солодовке, там жить было

куда хуже, чем в спаленном доме.

– А зачем ты мне принес? – поинтересовался К. В. – У нас есть жилищная комиссия.

– Но они без вас, Кирилл Валентинович, решать ничего не станут…

– Это ты, Куделин, преувеличиваешь. Есть правила закона, и мы их соблюдаем. Резолюцию я тебе поставлю, но самую обычную: «Рассмотреть на жилищной комиссии». И все. Ты заявление в комиссию отдавал?

Нет? Ну что же ты? Отдай. И быстро. И все справки. Но должен тебе сказать, что раньше чем через четыре года твоя очередь не подойдет. Ты это понимаешь?

– Я понимаю! – выдохнул я с воодушевлением, будто срок в четыре года был для меня незаслуженной наградой. – Я-то ладно, я-то ко всему привыкший. Старикам вот тяжко. Я-то, был бы я один, разве б решился обременять просьбой.

Мне было стыдно. Я стал себе противен. Я оправдывался, будто я в чем-то мог считать себя виноватым. Ну да, я был виноват, коли посмел просить… Я встал.

– Спасибо за совет, Кирилл Валентинович. Я пошел. Очередь есть очередь. Но она все же движется.

– Погоди! Садись! – резко сказал К. В. – У меня еще есть время. Номер сегодня ведет Камиль.

Я сел. Он смотрел на меня, сощурив глаза, и не было в них доброты и благожелательности, чуть ли не брезгливость видел я в них.

– Ты, Куделин, всегда такой кроткий и смиренный? Благостный прямо?.. Тихий инок… из этой… из Оптиной пустыни?.. Нет, пожалуй, я помню тебя и не кротким. Отнюдь!

Приехали… Пришла пора, настало лето… Кириллу Валентиновичу будет сейчас что мне припомнить…

Молодые люди нынешних дней понять нравы и привычки нашего поколения вряд ли смогут. Слова «регламент», «ранжир», «субординация», «твой номер – девятьсот восемнадцатый» и пр. им неизвестны, им и в разумение не могло бы войти то, что их отцам и дедам танцы «танго» и «фокстрот» (что говорить о роке!) исполнять было запрещено, да и никогда над ними, нынешними, не висел в небесах аэростат с портретом генералиссимуса. А я и в первых классах, и в пионерах (в детском саду и в октябрятах я не был), да и во всем укладе воспринявшей к пребыванию в ней жизни, я быстро прошел выучку государственного устроения и совершенствования и шкурой (иные говорили – «всеми фибрами души») ощущал свое истинное месторасположение в вертикалях и горизонталях общественного бытия. А если заблуждался или плавал в черничных сиропах грез, меня тут же тыкали мордой об стол и объявляли: «Нет, твой номер и не девятьсот восемнадцатый, а куда более мелкий…» И сегодня вот: «Ты не творческий работник, ты скорее технический…» «Ну, технический, ну и что? Технический, технический, успокойтесь…» Я уже писал выше, что объяснялся с генералом. Кирилл Валентинович Каширин по значению должности и номенклатурному измерению вершинных устройств на самом деле был гражданским генералом. Примеривали же его и в маршалы. А я по выходе из университета получил в военном билете запись: «младший лейтенант запаса». В должностном же состоянии я ощущал себя сержантом или ефрейтором. Пора моих бонапартьих воспарений отлетела лет пять назад, и в грядущем генералом я себя не видел. Да и не было у меня нужды ни в каком генеральстве… И вот недавно, месяц или полтора назад, я наорал на генерала, на Кирилла Валентиновича, наорал яро, и в том крике-выговоре самым нежным, ласковым почти, было слово «мудак», другие слова я приводить здесь не буду. Возможно, и разговор сегодняшний К. В. продолжил, чтобы напомнить мне о забавном – для него – случае. Играли мы тогда на Пресне, на поле «Метростроя» с ФИСом, командой издательства «Физкультура и спорт». Я бегал правым хавбеком, держал персонально знаменитого сборника Арменака Алачачана, но порой позволял себе гулять от него вперед и влево, в центр. Там, уходя то и дело в правые инсайды, носился Виктор Понедельник, мы с ним сближались редко. И Понедельник, и Алачачан считались как бы авторами издательства, и мы, поворчав, согласились не называть их «липачами». Алачачан, в баскетболистах – Малыш (метр семьдесят восемь), был ниже меня, но, когда я врезался в него, я понял, что налетел на чугунный столб. Играть с ним надо было на опережение. А К. В. держался сзади меня на позиции чуть выдвинутого вперед правого защитника. Острые случаи до него не доходили. Играли мы прилично, после первого тайма вели один-ноль и могли бы получить два очка в турнирном зачете «Золотых перьев», если бы не казус за семнадцать минут до конца игры. Трое фисовцев шли на меня, я сделал подкат вперед, резкий,

короткий, что позволило мне тут же вскочить с земли, мяч я не отбил, а выковырнул и накрыл его телом. Двое фисовцев проскочили мне за спину, а третьего финтом я уложил на траву. Впереди у нас могли возникнуть голевые ходы, мяч сейчас же надо было отправить либо Марьину, либо Гундареву. Но игроки торчали забором. Я чуть скосил глаза. К. В. стоял в прекрасной позиции. От него коридор для мяча шел прямо к Марьину. Марьин игрок был так себе: плохая дыхалка, техники никакой, глаза – в землю, но рывок имел отменный, а сейчас рывок вывел бы его прямо к воротам, забивай хоть пузом. Я отбросил мяч К. В., закричал: «Марьину! В разрез! Скорее! Марьину!» К. В. не поспешил исполнить мой совет, почти требование, на меня он не взглянул, а повернулся и послал мяч вратарю, Мартыненке. Силу удара не рассчитал, мяч покатился вяло, седьмой номер фисовцев, осаженный было моим подкатом, бросился за ним первым и мимо ошарашенного долговязого Мартына влепил мяч в нашу сетку. Тогда я и наорал на К. В. Кроме матерных были произнесены и истинно обидные слова: «Не умеешь играть – не лезь в команду!» Поначалу К. В. пытался отшутиться: «Да что вы, братцы! За корову, что ли, играем?», но увидел глаза ребят, своих и чужих, нахмурился и опустил плечи.

Позже в раздевалке, после душа, все отошли, пили пиво, дурачились, об эпизоде с К. В. не вспоминали, мне было неловко. Игрок-то он был неплохой. Резкий, смелый, не ныл от травм и не кичился ими. И хотел играть. Вышел бы случай с моим ровесником, я бы подошел к нему, извинился: «Старик, мало ли что может произойти в горячке игры, не обижайся!» Но сунуться с извинениями к К. В. ни сегодня (а он уже и убыл по делам, за ним подлетела «Волга»), ни завтра я не мог. Да и как бы расценил К. В. мои извинения? И вряд ли мои крики остались в его памяти. Через неделю мы играли с «Советским спортом». К. В. явился на предварительный сбор. И когда обсуждали состав, было заметно, он нервничал. Могли бы ведь напомнить и о его возрасте, еще кое о чем, хотя бы и косвенным образом. Но нет, мнение было общее, защитником на правый фланг ставить К. В. И он разулыбался…

– Куделин, ты верующий? – услышал я.

– Верующий?.. – растерялся я. – Я… Я – крещеный… По всей вероятности… Хотя не знаю… Отец-то у меня партиец…

– Я спрашиваю, ты – верующий?

– Я – комсомолец, – продолжал бубнить я. – А к православным традициям отношусь с уважением… Это история отечества…

– Фу-ты. – К. В. произнес это с раздражением теряющего терпение. – Я про одно, ты про другое… Вот вы с Марьиным суетитесь по поводу церквей, публикации готовите…

– Не церквей, а памятников архитектуры… Их столько наломали и еще ломать намерены…

– Ну ладно, успокойся, успокойся! Памятников так памятников. Сейчас к этому делу отношение благосклонное. И в твоей благонамеренности никто не сомневается. Ведь ты, Куделин, благонамеренный?

– В каком смысле благонамеренный? – взволновался я.

– В самом прямом и простом. Или ты только прикидываешься простаком со старомодными установлениями? А сам живешь со своей дудой и своими ожиданиями?

– Никем я не прикидываюсь! – сердито сказал я. – Как живу, так и живу.

– Скорее всего, оно и так. Ты весь просвечиваешь… Нет, Куделин, ты не игрок. Не игрок!

– Я… Кирилл Валентинович…

– Не командные игры имею в виду, – сказал К. В. и встал. – А всякие мелочи, вроде квартир, можно приобрести и поиграв. Не в карты, естественно. Но не всякому дано… Увы!

Я тоже был намерен встать, но К. В. движением руки повелел мне сидеть. Сам же принялся прохаживаться по кабинету, не роняя слов, будто бы обдумывая опечалившее его открытие: Куделин-то – не игрок, а смирная благонамеренная личность. Да на кой сдался ему этот Куделин, растерянный, а может, и разобиженный (и на самого себя, конечно)?

В те минуты я вовсе не занимался созерцанием натуры Кирилла Валентиновича. Но рано или поздно, хотя бы из литературных приличий, следовало бы сказать кое-что о внешности нашего Первого зама. И я подумал: а почему бы не сделать это сейчас?

В ту пору молодежный начальник (а молодежных-то ход времени и фортуна по ковровым дорожкам сопровождали в начальники взрослые, а потом и в степенные) не мог быть не только инвалидом, уродливым лицом, болезненным, но и просто непривлекательным. Существовала система «смотрин» кандидатов в лидеры (кандидаток я сейчас касаться не буду, там были свои смотрины и проблемы) и перед выборами, и перед утверждениями, и перед показом кураторам, и пр., и пр. Лидеры должны были нравиться массам, вызывать их доверие и располагать их к себе, как располагали к себе герои (не плакатные, упаси Боже, не плакатные!), а оживленные Урбанским, Баталовым, Юматовым, Столяровым, Лановым. Да и мужицко-спортивная крепость была бы в них не лишней, она бы свидетельствовала об их силовой надежности. Ну и гагаринская улыбка не помешала бы. Или хотя бы улыбка Бернеса. Ценилось также умение носить костюмы современных деловых людей европейских достоинств, забыв при этом о габардиновой серости и фетровых шляпах нафталиновых секретарей. Должен добавить, что, как правило, не было удачи на «смотринах» малорослым. Достижения прежних мелких размерами вождей не принимались во внимание. «Нынче стиль иной…» Претендент ростом выше метра семидесяти пяти на «смотринах» имел преимущество перед соперником ниже ста семидесяти сантиметров, пусть и обладавшим лицом самым что ни есть открыто-доброжелательным.

К. В. подобным «смотринам» не подвергался (если и случались какие «смотрины», то иного рода). Его движение было профессионально-творческим, оно и привело его в номенклатуру с ее правилами развития. Но теперь К. В. выглядел так, будто бы в свое время упомянутые мной «смотрины» он заслуженно прошел. Мужик был что надо. В соку. Крепыш, роста при этом отнюдь не малого, широкоплечий, но не тяжеловес, вполне стройный и даже элегантный. Единственно – он косолапил или даже был немного кривоног. На футбольном поле это виделось отчетливо. К. В., говорили, рос офицерским сыном, из гарнизона – в гарнизон, там всюду были лошади, и он с детства уважал себя кавалеристом. Он и теперь с помощью ребят из спортивного отдела приятельствовал с конниками и в свободные часы чуть что – взлетывал в седло, осанка его, рассказывали, вызывала уважение. Состояние духа и мышц он вообще старался поддерживать. Увлекался аквалангом и водными лыжами, дважды в отпуски отправлялся в тянь-шанские походы с альпинистами, в

прошлом году делал вылазку на медведя, причем не на обреченного бедолагу в завидовском хозяйстве, а с деревенскими охотниками в вологодском лесу. Замечу, что и стрелком офицерский сын считался хорошим. Помимо всего прочего, разговоры о стиле жизни К. В., хотя бы отпускной или досужей, создавали ему репутацию охотника и удальца, а по входившей в оборот терминологии – плейбоя и супермена. Нынче при воспоминаниях о тогдашнем Каширине на ум мне приходит Николай Расторгуев из группы «Любэ», но, пожалуй, К. В. был повыше ростом, шею имел подлиннее и лицо потоньше…

По установлениям времен сотрудники влиятельного департамента на Маросейке, кому подчинялась наша газета, обязаны были приходить на службу в костюмах, разумеется, при галстуках и белых рубашках. Взрослые подручные партии этажами ниже нас тоже – и чаще всего с удовольствием – соблюдали правила социального приличия. Наши же мастера, юноши и девицы, считали себя независимыми творцами, уставную принадлежность к департаменту относили к дипломатическим атавизмам, себя же полагали фрондой, а ношение галстуков, синих и темно-серых пиджаков причисляли к дурному тону или даже к актам политических уступок. А то и к предательствам идеалов. Во всяком случае, каждый надевший галстук без объяснимой в тот день причины (свадьба, поход в театр, съемки для паспорта) мог быть признан делающим карьеру. Ковбойки, водолазки, свитера, куртки – вот в чем было принято являться в редакцию и во всякие уважаемые и неуважаемые помещения. К. В. мог позволить себе визиты без галстука (в костюме, конечно, не в джинсах же) и в строения на Старой площади, хотя там он не был любимцем, принцем-дофином. Там он скорее был на подозрении. Ведь ход к продвижению дал ему Никитин ЗЯТЬ, Аджубей Алексей Иванович, сам, пусть пока и не четвертованный. Но униженный нынче необходимостью не иметь имени, а иметь псевдонимы, задвинутый в затхлые и без лестниц в небо комнаты на улице Москвина. Кастратоголосый Михаил Андреевич Суслов ехидств в свой адрес и уж тем более посягательств на сан кардинала не прощал. И все же, несмотря на ненавистного Зятя, шептала молва, Михаил Андреевич зла на К. В. не держал и будто бы видел в нем нечто надежно-родственное (а вот деликатнейшего нашего Главного, О. Б., он не миловал и был намерен сгрызть. И сгрыз, и отправил кости в Берлин). А К. В. мог бы прибыть к нему на вызов и в водолазке. Впрочем, Михаил Андреевич сам не любил костюмы и галстуки, а комфортно, говорили, ощущал себя во френчах, толстовках и в грубом, но теплом (мерзляка!) нижнем белье. (Тут я опираюсь на молву и редакционные легенды.)

И вот теперь К. В. расхаживал передо мной в водолазке под светло-бежевым пиджаком, явно купленным где-нибудь в Брюсселе.

– Что-то мы с тобой, Куделин, заболтались, – сказал К. В.

– Извините, Кирилл Валентинович! – вскочил я. – Я сижу у вас, как… Я ухожу…

– Во-первых, я тебя не отпустил, – сказал К. В. – А во-вторых, мы сейчас попросим Тамару принести нам по чашке кофе с какими-нибудь баранками…

Мне пришлось подчиниться. Приглашенная кнопкой буфетчица Тамара, сытная, смуглая, но краснощекая дама лет сорока пяти, тотчас принесла кофе с баранками и отчего-то подмигнула мне, будто бы понимающе. При Главной редакции существовал буфет, кормивший начальство обедами, с изысками в меню («куропатка жареная со спаржей») и ресторанными достоинствами блюд. Кому положено, там можно было и прикупать продукты домой. По сходным ценам. Некоторые члены редколлегии, из свежих, по привычке демократического или даже еще студенческого столования, ходили с подчиненными в комбинат питания типографии напротив, но никто в этих хождениях особенных подвигов не видел.

– Лелька, дочь уборщицы Зои, – сказал К. В., будто дворовой новостью поделился, – нанялась к нам секретаршей…

– Да, – согласился я.

– Говорят, Мальцев стал ее ухажером?

– Я не близок с Мальцевым, – сказал я. – И о его симпатиях ничего не знаю…

– Общее же суждение, что ты во всех отделах свой, повсюду бываешь, все про всех знаешь и все с тобой приветливы…

– Просто я полагаю, что все вопросы по смысловой точности надо решать в отделах и заранее, а не вызовами на седьмой этаж. В горячие мгновения. Поэтому я спускаюсь на шестой этаж, и все проходит без нервных напряжений и обид… Ущерба у моей памяти пока нет, я знаю, в каких документах и источниках есть необходимое, ко мне обращаются за советами, еще работая над статьями… Я стараюсь относиться профессионально к делу и захожу в отделы вовсе не для того, чтобы вызвать общую приветливость… Ее, кстати, и нет…

– Да… А твоя начальница сидит будто на вышке над всеми над нами, – произнес К. В., – и басом по телефону производит указания.

– Я с уважением отношусь к Зинаиде Евстафиевне, – сказал я. – Просто у нее своя манера работать, а у меня своя…

– Эко ты мне благообразно и следуя служебному соответствию отвечаешь, – покачал головой К. В. – Скажи, а вот самиздатовские рукописи ты читаешь?

– Нет, – отрезал я. – И в руки не беру.

– Даже Набокова? Он-то ведь безобидный… Но мастер… Или «Доктора Живаго»?

– И Набокова тоже. И «Живаго»…

– Из боязни?

– И из боязни. Но не только… Из принципа…

– И что же это за принцип такой? Если не секрет…

– А принцип такой. Я не имею права позволять себе читать то, что недоступно народу. То есть всем…

– Ты, Куделин, не только благонамеренный. Ты еще и зашнурованный! – теперь К. В. и рассмеялся. – Но в наше-то время и при наших-то знаниях чрезвычайно трудно прожить без разумного цинизма. Тебе как благонамеренному я порекомендовал бы цинизм исторически-жизнеутверждающий. Без него ты, пожалуй, и квартиру из государства не сумеешь выбить. Кстати, учти, что и первые наши перья – Ахметьев, Марьин, Башкатов – получат квартиры не через год и не через два…

С чего бы вдруг К. В. смешал сейчас Ахметьева с Марьиным и Башкатовым в одном компоте, понять я не мог. Ахметьев пребывал в ином государственном наборе, и ключ ему могли вручить от чертогов на Кутузовском проспекте. В случаях с Марьиным и Башкатовым, было известно, К. В. проявил слабость.

Чиновные удачи его как бы и не радовали, а вот литературные – волновали. Тщеславным оказался К. В., тщеславным! Как человек пишущий он ставил себя очень высоко. В газету очеркистом его взяли со второго курса, это все равно что баритона со второго курса консерватории позвать в Большой петь князя Игоря и Эскамильо. Или девочке из предпоследнего класса училища предоставить в Большом же дебют в роли блистательной Китри. И позже – светлейший Зять был доволен К. В., всячески его поощрял. К. В. выпускал книгу за книгой, после лауреатского прорыва Пескова и его представляли на Ленинскую, он ее не получил, но запомнился как соискатель. И тут совсем недавно два молокососа, два его собственных клерка, Башкатов и Марьин, издали: один – повесть, другой – роман, по ним поставили фильмы, и их сейчас же приняли в Союз писателей, дело по тем временам серьезное. То есть перевели в разряд иных перьев. Или даже иных людей. Этот их прием в писатели, причем с приглашением и без всяких унизительных осложнений, которых опасался сам К. В., в особенности задел, раздосадовал и даже рассердил его. Экая мелочь – и туда же. А кто они (Марьин тот же – начитанный стилист, и только) и кто он? Сам же он, К. В., правда, в ту пору почти не писал, а если что и публиковал, то – путевые заметки из многих стран, раздираемых глубокими противоречиями, он их надиктовывал стенографисткам. «Ну и что! – заявлял К. В. – Вот и Симонов прозу диктует!» – «Оттого у него и проза, – горячился Марьин, – дрянь, что он ее диктует!» Оценкой почитаемого К. В. писателя Марьин еще более раздражал оппонента. А необходимость выехать из коммуналки семьи Марьина (шесть человек) была совершенно очевидная. К Башкатову К. В. относился как будто бы спокойнее, тот был юла, мог подыгрывать К. В. и даже согласиться исполнить его задания-капризы, дабы показать, что он-то управляемый и знает свой шесток. И тем не менее сейчас К. В. опять соединил его с Марьиным и на годы отдалил от квартиры.

На что же было надеяться мне, и не перу вовсе, а техническому закорючке?

– Да, Куделин… – протянул К. В. – Да… Ну что? Даже если ты и не прикидываешься сейчас Акакием Акакиевичем, то при своей благонамеренности и благопристойности кому-нибудь и на что-нибудь, может быть, ты и понадобишься… Да… Вот еще… Говорят, эта наша новая красотка Цыганкова, стажерка в школьном отделе, оказалась сорвиголовой, или, как ее назвали уборщицы, оторви да брось?

– Я ее видел издалека… – смутился я.

– Издалека! Хм… Издалека! – К. В. даже поскучнел. – Ты, может быть, не только благонамеренный, но и соблюдаешь обет целомудрия?

Переносить этот разговор я более уже не мог. Я встал.

– Ладно. Чтоб ты вконец не расстроился, я тебе сейчас презентую одну вещицу… Обожди…

Он ушел в ту самую комнату отдыха и тотчас вернулся с фарфоровой вещицей в руке.

– Не расстраивайся и не обижайся… Вот держи… В знак благоожиданий и надежд… Да! – К. В. будто спохватился. – Ты этой своей начальнице и благодетельнице о мелочах нашего разговора не докладывай. Эти педантессы с причудами. Она еще возьмет и передаст своим друзьям, древним большевикам и политкаторжанам, какую-нибудь ерунду с искажениями.

А через час я и встретился в холле шестого этажа с Глебом Аскольдовичем Ахметьевым, известившим меня о четырех убиенных. С чего и начался мой рассказ.

5

На следующий день на работу мне надо было прибыть к двум часам.

По голове и по почкам бить меня ногами я не дал, укрылся, ребра болели, но, исходя из опыта проживания, можно было понять, что они не сломаны. Миозит же мог осложнить мне жизнь недели на две. «Завтра и послезавтра, – предположил я, – болеть будет особенно. Потом полегчает». Рожу мою разукрасили в цвет, темные очки я не любил носить, у меня их не было. Гримом искажения в облике я никогда не замазывал. И теперь решил выйти из дома, каким натура моя вынуждена была иметь сейчас выражение.

В редакционном лифте я ехал один, да и в свою комнату я прошмыгнул мимо Зинаиды Евстафиевны безгласно. Все углы, закоулки и щели комнаты я обшарил,

ящики столов повытаскивал и исследовал их, опускал руку и в отдохнувшую от бумаг корзину. Без толку. Конечно, вчера я убирал солонку в пластиковый пакет, клал в сумку, а трое разбойников из засады свое совершили: солонку в сумке обнаружили и изъяли ее.

– Василий, – в комнату вошла и забасила, не затушив сигареты, Зинаида Евстафиевна. – Я знаю, что ты не драчун. За что же тебя так извалтузили?

– Из-за барышни… – вяло сказал я.

– Ну прямо! Тебя – и из-за барышни! Я бы только обрадовалась, если бы из-за барышни… Особенно этой… глазастой… из школьного отдела.

«Про Цыганкову, что ли? Да что они все? – обиделся я. – Что они вбили в головы?»

– Вот тебе черные очки, – сказала Зинаида Евстафиевна. – Однажды кто-то у меня их оставил. Сам по отделам сегодня не ходи. Глаз-то видит? И как тебя не забрали в трамвае? И небось глаз слезится? Ага… А тебе надо читать… Аки коршуну, должному углядывать нынче движения в сжатой ниве… Сейчас я тебе принесу крепкий чай, холодный, для промывания…

Зинаида Евстафиевна была всегдашняя, в бурой полотняной блузе со стоячим воротником и множеством пуговиц, в черной суконной юбке до лодыжек, в ортопедической обуви – на взгляд непросвещенного, на самом же деле Зинаида Евстафиевна ногами не страдала, а полутуфли-полусапожки со шнуровкой невысоких голенищ, напоминавших ей обувь юных романтических лет, заказывала у ортопедов, в магазинах ее взорам было скучно. Носила она очки, по стеклам – пенсне, в ту пору чрезвычайно старомодные. Очень пышными и совершенно не седыми были русые волосы Зинаиды Евстафиевны, на голове ее они виделись шапкой, на затылке она собирала их в пучок, отчего шапка еще более увеличивалась. В молодости, распущенные, они, наверное, стекали ей до бедер. За глаза мою начальницу, заведующую Бюро Проверки, называли Вассой Железновой, при этом, скорее всего, приходила на ум не натура горьковской героини, а голос Веры Пашенной, игравшей ее. Такую даму следовало уважать и даже побаиваться. А К. В., наверное, знал о ней и ее друзьях нечто такое, что заставляло его в отношениях с ней и осторожничать.

– Вот, Василий, – снова вошла ко мне Зинаида Евстафиевна, – тебе стакан. И чайная ложечка. А пипетки нет. Если захочешь, зайди за ней в корректуру… И на тебе запасную полосу… Там три цитаты из Маяковского, по отделу Агутина, сразу почуяла, что с путаницей… И погляди статьи иностранцев… Они, сам знаешь, читают лишь Брэдбери и сочинения Флеминга, про Бонда… Некоторые, правда, заглядывают отчего-то в этого спекулянта и моралиста Франса…

Она вышла. И тут самое время объяснить, как я попал в известную газету, именно в Бюро Проверки, и что такое это самое Бюро Проверки.

В баскетболе есть скучное техническое выражение: обороняющаяся сторона поставила два заслона. Первый заслон – защитники, «малыши» (к ним относился упомянутый мной Арменак Алачачан, метр семьдесят восемь), они суетятся, прыгают, машут руками, не давая соперникам прорваться в трехсекундную зону или совершить дальний бросок, в три очка. Второй заслон – большие, центровые, двухметровые, те на посту у последней игровой линии. Оба заслона – для того, чтобы не допустить, пусть и ценой фалов, то бишь нарушений, попаданий мяча, посланного противником, в свою корзину.

Во времена, о которых я вспоминаю, для того чтобы не случилось, упаси Боже, проникновения в тексты газет и всяческих изданий каких-либо безобразий и несовершенств, хотя бы и самых пустяковых, способных ослабить мощь Отечества, расшатать государственные устои, смутить народные успехи и порадовать умелых на козни клеветников, ставили не два и не три заслона. С десяток, а то и больше. Самые существенные и профессиональные укрепрайоны были возведены в нужную пору на Старой и Новой площадях. Там выращивались и утверждались люди, какие в самих газетах и изданиях не могли допустить ни малейшего смущения народо-созидающего сознания. Далее существовал бастион с Недреманным Оком в Китайском проезде. Главлит. Какие еще очи не дремали в рассуждении ежедневного благослужения печатных форм, нам неизвестно. Но они и должны были не дремать никем не замеченными и не различимыми. А в нашем здании на разных этажах сидели охранители свои, привычные, тихие, не раздражающие, а потому и – не обидные. Два цензора, наблюдавшие за спокойствием военных секретов. Корректура, та охраняла нормы и причуды русского языка, но имела в виду и то, что в случаях, ее не касающихся, но чрезвычайных, она обязана обратить внимание на политические странности текстов, возможно, также наносящие вред русскому языку. А у нас на шестом этаже обитало странно выдрессированное существо – «свежая голова». Точнее сказать, существо это было многоголовое. Оболочку его меняли

каждый день. По графику. К шести часам вечера, иногда раньше, в редакцию должен был прибыть освобожденный от дел сотрудник, в меру уже проявивший свою ответственность, выспавшийся, трезвый, не переевший в обед, с ясными глазами, прибыть и начать искать в приходящих из типографии полосах ошибки. Понятно, что не корректорские, не географические, не искажения в названиях балетов и футбольных команд (ну подумаешь, опять наборщики испортили слово «Лебединое», они любят шутить с озером Петра Ильича, поправят корректоры, «свежей» же голове – зреть в Корень!).

Так вот, одним из последних упомянутых мною заслонов оказывалось и наше Бюро Проверки… Написав это, я спохватился, узрев неправомерность или неточность обращения к привычкам баскетбольной игры. Там заслоны выставлялись против чужих, их вызывали агрессивные усердия соперников, желающих вынудить наших сдаться. В издательских же делах опасались мячей, какие могли быть заброшены в оберегаемые народные корзины своими же… Либо по причине разгильдяйства, либо по причине непростительной легкости ума, по дурости объявляемой свободы и самостоятельности мышления, а когда и по причине лукавых влияний злых сил. Ну да ладно… Соображения мои и так достаточно прямолинейны… Продолжу…

Принимая во внимание развитие технических средств, я бы уподобил теперь Бюро Проверки компьютеру с энциклопедическими банками знаний, и исторических, и естественно-научных, и культурологических, и злободневно-событийных. Да, в этот банк непременно должны были бы впитываться и сведения о всех явлениях планетарной жизни моментальной свежести. Газетные же полосы необходимо было пускать, пусть и грязноватыми оттисками, в плавание по струям этих знаний (экие являются выспренние слова!), чтобы газета по точности, а стало быть, и по степени уважительности к читателям и своему профессиональному делу, была не хуже академических словарей. Только при этом и можно было бы верить газете. Зинаида Евстафиевна Антонова, Нина Иосифовна Белугина и Василий Николаевич Куделин и заменяли в конце шестидесятых годов в редакции нафантазированные мною банки данных.

По моим понятиям, и тогдашним, и нынешним, при газете, как и вообще при издательских делах, следовало держать два заслона. То есть две службы. Корректуру. Дабы не допустить языковых нелепиц. И Бюро Проверки. Ради культуры, журналистской и читательской. Но сейчас-то, если судить по печатной продукции, эти службы повсеместно упразднены.

А в Бюро Проверки на Масловке я попал таким манером. По причине инвалидности моих родителей мне, как единственному кормильцу (родители, конечно, подзарабатывали), назначили свободное распределение. Я кончал истфак МГУ. Студентом я переползал с курса на курс серым. Способности мои и моя натура вряд ли бы обеспечили мне удачи в науке. Да была ли история в ту пору наукой? Там и тут, правда, тлели ее очаги, но к дымящимся углям меня бы и не допустили. Предполагалось мне стать учителем истории. Но педагог я был никакой. Пребывал я, как поется в обращении красного кавалериста к девушке Лизавете – «в тоске и тревоге», но тут в один из дней между защитой (диплом был о годах Василия Третьего) и госами меня пригласили на собеседование с Главным почитаемой мною газеты. Я на нее подписывался, знал имена ее корифеев и даже верил ей. Верил настолько, что поучаствовал в трех ее читательских дискуссиях. Первая была о физиках и лириках, вторая – о смысле жизни, третья – о любви. От нечего делать и по глупости я записал на бумаге свои полемические соображения и послал их в газету. А их взяли и напечатали. Как помнится, на расстоянии школьной тетради от рассуждений самого Ильи Эренбурга. И цидули мои о смысле жизни и любви позже тоже опубликовали. В разговоре с Главным редактором, красивым и, как мне показалось, стеснительным человеком, выяснилось, что мои писанины запомнились, что в газете создается отдел студенческой молодежи и мне в нем предлагается должность стажера. А коли за год я проявлю себя, то стану и корреспондентом. Сбрасывая с себя уже примеренные вериги учительства, я согласился на стажерство без колебаний. Но за год удачных публикаций не случилось, на меня косились, сам же я пенял себе: «Здоровый мужик, а держусь за пятьдесят рублей!» – и подыскивал новое место поприща. Тогда-то меня – после уговоров – и перевели в Бюро Проверки. Каждому из начинающих полагалось на две недели быть откомандированным дежурить в Бюро Проверки. У Зинаиды Евстафиевны Антоновой была сотрудница Нинуля, барышня неизвестных лет, в монашеских одеяниях. Считалась она словно бы калекой, сухоручкой, скрючена у нее была правая рука, не будь она калекой, полагала она, сидела бы она теперь, по своим мечтам, в костюмерном цехе Большого театра. Проявляла она себя нервно, порой истерично, работницей же была старательной, но бестолковой. Властную и грубоватую Зинаиду Евстафиевну с ней связывало что-то особенное, какая-то история, разузнавать о ней и ее подробностях мне доверительно не рекомендовали. В последние годы Нинуля часто брала больничные, Зинаида маялась одна, но уволить Нинулю не давала, выбила, наконец, третью ставку. Но брать на нее работника ей позволяли лишь из штата редакции. «А дайте мне Куделина! – потребовала она. – Он был у меня две недели на практике. Я знаю ему цену!»

Оклад мне определили сто двадцать рублей. Вполне прилично. Мне были положены отгулы, когда и два дня в неделю. Двум моим одаренным однокурсникам я мог помогать в их затеях и долговременных программах у них в государственных архивах, за что тоже платили, пусть и копейки. А в случаях нужды я мог по студенческим связям и памяти проводить ночи грузчиком на Павелецком вокзале. В месяц я приносил старикам сто шестьдесят рублей и полагал, что имею право не считать себя повесой и блудным сыном. И в редакции я не ощущал себя более бесполезным человеком, мне объявляли благодарности в приказах, я узнал людей газеты, они узнали, чего я стою и чего от меня ждать, и во всяком случае не злились на меня. Так мне казалось…

Но теперь я сидел в своей служебной коморке[2 - Здесь и в ряде других мест сохранена орфография, являющаяся неотъемлемой частью авторского стиля. – Примеч. ред.] и горевал. Досады и тревоги мои вызвало вовсе не вчерашнее ночное происшествие на Третьей Мещанской, не мятые рожа и бока, а разговор с многоуважаемым К. В. (я на самом деле относился к нему с уважением, в частности – и с уважением). Многие слова К. В. требовали толкований и ответов, пусть и не произносимых, а собственная моя личность нуждалась в анализе, оценке, а возможно, и самобичевании. Кем меня видят, за кого принимают? Кто я есть, коли удостоился ТАКОГО разговора?

6

В дверь постучали. Я нервно надел темные очки и схватил нечитаную запасную полосу.

– Привет, старик! – вошел Владик Башкатов. – Ба! Да ты разукрашенный! Это когда же?

– Тогда же… – буркнул я.

– Ну-ка сними очки! – впрочем, Башкатов сам снял с меня очки. – Так, в рожу всего три удара. Крепких, но три. Значит, били по корпусу…

– И по корпусу, – подтвердил я.

– А где подарок К. В.? Покажь!

– Увы, его нет. Он уже не у меня…

– И отобрали те, что напали? А напали, когда ты вышел из нашей машины и направился домой? Сколько их было?

– Трое. Только вы отъехали, я прошел метров восемьдесят, и тут они выступили из темноты…

– Это потрясающе! – Башкатов был в восторге. – С какой скоростью все делалось! Это надо же было знать, что К. В. нечто тебе вручил, что сигнал подписали в два, что ты поедешь не к бабам, а домой, что к дому ты откажешься подъехать, а выйдешь, как обычно, на углу Трифоновской! А? Каково? Ты думал об этом?

– Я много о чем думал, – сказал я.

– Ты кому-нибудь говорил о посещении К. В.? Хвастался ли подарком К. В.? Показывал ли кому его?

– Тебе-то что? – сказал я резко.

– Потом объясню. Так кому ты показывал? Или кто сам с тобой заговаривал о визите к К. В.?

– Никому не показывал. А говорил со мной о визите один лишь Ахметьев.

– Глеб Аскольдович! – Башкатова опять захватил восторг. – Ну как же я о нем запамятовал! Ну конечно! И что?

– Ничего. Посулил мне неприятности. И напомнил о четырех уже убиенных.

– Именно! Именно! – заявил Башкатов радостно. – Четыре убиенных! Ты – избитый и ограбленный! То ли еще будет!

– Послушай! Тут какая-то чепуха. Отравившуюся и повесившегося я знал, для своих подвигов они имели собственные, особенные причины.

– Ты о многом, братец, не знаешь. И почти ничего не понимаешь! А Глеб Аскольдович, он – умница, и он не зря встревожился. Или возбудился?

– И двое из четырех якобы убиенных якобы в связи с фарфоровыми изделиями – не наши.

– Не наши, – согласился Башкатов. – Но связаны с газетой. Я-то их знал. А ведь есть случаи пока неизвестные. Сколько фарфору выдано? А? Вот и дуй в ус!

– Прости, но все это ерунда! В наши годы, в нашей газете – у страны на виду! – и такие чудеса! Пещера Лехтвейса!

– А ты слышал про нашего Героя Советского Союза с речной фамилией, то ли Тобольцева, то ли Енисеева? Уж какие были времена! Тридцать девятый год, всех на этаже брали, а он Берию облапошил! Да каким образом!

– Очень смутно что слышал…

– Расспроси Комаровского. Он тебе расскажет.

– Это который Стрельцова посадил?

– Ну не он, конечно. Его руками, его пером… Посадили Зять с Тестем… Ни за что! Ради красного словца. Любимца народа! Кулаком по столу! И привет! Эдика Стрельцова посадили ни за что, а ты говоришь – нет чудес!

– Разные вещи… – промямлил я.

– А про этого, который Берию облапошил, наверняка твоя Зинаида знает…

– Мало ли что она знает.

– Ты рассмотрел, что тебе выдали?

– Мельком. Солонка. Определенно солонка. Птица с прижатыми к бокам крыльями. Дырочки маленькие в ее голове… И все… Ростом в два спичечных коробка…

– Я бы часа два вертел твою солонку, все бы рассмотрел…

– Мне было не до солонки… – мрачно сказал я.

– А-а-а… Понимаю, – сообразил Башкатов. – К. В. с тобой поиграл… Ах, Кирюша, Кирюша! Решил провести еще один опыт… Чем же ты, Куделин, так его заинтересовал? И ради каких его польз? Ну ладно, позже разберемся… Ты в милицию заявил?

– Из-за солонки-то?

– А рожа и ребра?

– Сам виноват. Надо было бить первым.

– Ну как знаешь…

На вид Владик Башкатов был совершенный балбес. Рыжий, худющий, ушастый, с длинной шеей, гусь. И нос имел протяженный, впечатляющий, но не гусиный, а тонкий, острый. Любил балагурить по поводу своих мужских достоинств, указывал при этом на нос, приглашая слушателей к ассоциативному мышлению. «Значит, он у тебя – негритянский, – кивали собеседники. – Длинный и как веточка». Башкатов возмущался, призывал в свидетели своих славных мужских удач Проровнера: «Проровнер не даст соврать!» Илюша Проровнер был фотограф, не раз ездивший с Башкатовым в командировки. В свои тридцать лет Башкатов мог сойти за парнишку, выросшего из ношеных ковбоек и китайских парусиновых брюк (с джинсами тогда были сложности), носил он и китайские кеды «Три мяча». Можно было предположить, что он из беспризорников или из семьи, не мучившей потомство воспитанием. В разговорах любил почесывать грудь и бока, да все, что чесалось, слушал чужие слова именно разинув рот, а уж поковыряться в носу было для него первейшим делом. В действительности же Башкатов происходил из семьи потомственных электротехников («С Якоби начинали, с ним…»), по традиции и по душевной расположенности – театралов. И теперь у Башкатова было много приятелей среди модных актеров, скажем, из

«Современника». Сам Башкатов рвался поступать в Щуку (дядя служил в Вахтангове), но семья выдавила его в Бауманское. Проработав несколько лет в конторе Королева, он попал в газету, в отдел науки. Артист в нем, видимо, не был истреблен, он любил прикидываться олухом и простофилей, коли обстоятельства склоняли его к этому. Иногда ради развлечения, иногда ради выгоды. Но сейчас передо мной он вроде бы не играл, делал записи в блокноте, кряхтел и почесывал в носу, что соответствовало его творческому и розыскному удовлетворению.

– Ну вот, – встал Башкатов. – Очень интересно. Очень. Остается ждать новой солонки.

7

Долго ждать не пришлось.

Новой для Башкатова солонкой оказалась моя. Два отгульных дня я читал бумаги, переданные мне моим более, нежели я, одаренным сокурсником Алферовым. Костя Алферов был теперь аспирант, исследующий деятельность российских дипломатов второй половины семнадцатого столетия, то есть времен Алексея Михайловича, в архиве на Пироговской. В студенческие годы мы привыкли советоваться друг с другом. И сейчас он вручал мне выписки из архивных документов со своими соображениями на полях, и мы, прикупив пиво, в его квартире на Русаковской смаковали подробности жизни боярина Ордин-Нащокина. Ему бы, говорил Костя, жить во времена Петра. Впрочем, Ордин-Нащокин был хорош и в свои времена. И он прорубал окно в Европу. Вообще о допетровских или канунпетровских боярах-вельможах – разговор особый. И не здесь…

Итак, я явился в свою коморку после отгулов и сразу увидел на столе фарфоровую солонку. Я схватил ее, осмотрел, потряс ее, ничего не высыпалось, поинтересовался у Зинаиды Евстафиевны, не знает ли она, кто поставил мне на стол птичку, не знает, не видела, отвечала начальница, как она пришла на работу, так эта птичка на столе и стояла.

Я посидел полчаса с солонкой и позвонил Башкатову. Башкатов принесся тут же, в отделе их для нужд науки имелась лупа, сейчас она, естественно, была в руках Башкатова.

– Та самая? – спросил Башкатов.

– По моим понятиям, та самая.

– Ну хоть бы и не та самая, – сказал Башкатов. – Хотя бы и копия ее. Важен сам факт приноса-возвращения тебе этой солонки. Открыть ваши комнаты – дело простейшее. А коли бы они хотели оставить следы, они бы их оставили.

– Кто они? – спросил я.

– А я откуда знаю! – рассердился Башкатов. – Но в самом акте возвращения непременно есть смысл. Или вызов. И уж точно продолжение игры.

– Просто кто-то шутки шутит, – предположил я.

– Ничего себе шутки. Вызов бросают! А игра у них, может быть, адская…

– Мне, что ли, вызов? – удивился я.

– Ну уж прямо тебе! – поморщился Башкатов. – Ты-то им на кой ляд нужен!

И он махнул рукой. Видимо, признавая меня в этом деле пустяковиной. Или деревянным болваном.

Исследование солонки (не исключено, что уже как улики или вещественного доказательства) вышло обстоятельным. Совершал Башкатов и естественные действия, произведенные и мною. Но увидел я и манипуляции для меня неожиданные, вызвавшие мое удивление или даже уважение. Башкатов доставал из карманов (нынче он был в вольной куртке из серо-бежевого с крапинами букле) флаконы, кисточки, пакетики, скребки. Заполнял солонку сквозь большое отверстие под лапами птицы белым порошком, порошок же через дырочки для соли ссыпал затем в аптекарский пакетик и выводил на нем буквы с цифрами. Вливал в солонку жидкость, ее же выливал в пустой

флакончик. Мазал розовым желе головку птицы, кисточкой укладывал желе в банку. Много нюхал птицу с разными степенями внимания и интереса. Прикладывал солонку к уху, будто морскую раковину, надо полагать, в намерении услышать отдаленные разговоры тайных злодеев. Я явно ощущал физически-страстное желание Башкатова самому уменьшиться и ввинтиться вовнутрь солонки.

– Часа на два я у тебя ее заберу, – заявил он наконец. – Заводской знак непонятный. Старый. Но вещь не музейная. И не дорогая. Но очень может быть, что входила в набор. Тогда, можно подумать, набор был своеобразный. Что за птичка-то? Вроде бы сова. Но разве сова? Брови густые. И нос не крючком. А глянь в профиль – Бонапарт! И прядь надо лбом знакомо скошенная. И крылья, прижатые к бокам, словно фалды. Фрак или сюртук. Наполеон порой должен был ходить и в цивильном. Когда? При каких обстоятельствах? Выясним. Что еще интересно. Номер пятьдесят семь. Выведен какой-то странной зеленой тушью. Понятно, что это не пятьдесят седьмая солонка, выданная К. В. Не коллекционный ли это номер Кочуй-Броделевича? Или номер вывели раньше и на других основаниях? Неизвестно. Внизу птицы, вот смотри, опоясывающая канавка – стало быть, птичку, сову с Бонапартом, могли держать в подставке, скорее всего высокой и из хорошего металла. А коли так, место ей могли отводить видимое и почетное. Но зачем водружать на пьедестал солонку? Загадка… И что хотели найти в этой птице, раз ее похищали?.. Не знаю… Но ты понимаешь, что вынужден стать теперь моим помощником?

– С чего бы вдруг? – поинтересовался я.

– Ну не помощником, – тут Башкатов быстро взглянул на меня, что-то соображая, почесал грудь. – Вроде бы советником-консультантом. Ты же историк и сможешь оценивать ситуацию и ее персонажей своими способами. А своеобразие мысли порой открывает сейфы и без кода.

– Я такой же историк, – рассмеялся я, – как ты сыщик.

Башкатов надулся. А я, сознавая, что совершаю бестактность, не смог остановиться и выпалил:

– Ты вот так и не смог поймать снежного человека!

Я ожидал, что Башкатов тотчас же меня осадит, но он обиженно сжал губы. Башкатов занимался делами космоса, темой для газет в ту пору наиважнейшей, каждая мелкая новость в ней могла быть планетарной сенсацией. А Владислав Антонович умел добывать материалы из первых рук и без секундных опозданий, а часто даже и с опережением событий. Он имел выходы на Сергея Павловича Королева. Тот согласился быть консультантом повести Башкатова и его фильма. Но космические публикации допускались не часто – либо по случаю (запуски, годовщины), либо в связи с за-., рубежными разъездами слетавших уже космонавтов. И у Башкатова было время для писаний и командировок, с сутью отдела не связанных. То он ухитрился попасть в сельдяную экспедицию и купил в Гибралтаре обезьяну. То, вызвав доверие чекистов, уговорил их взять его наблюдателем при поимке загнанного уже за красные флажки матерого британского агента, о чем написал очерк с продолжением. То он искал клады и пропавшие библиотеки. И был страстью Башкатова снежный человек. В ту пору снежный человек находился в чрезвычайной моде. Он, нисколько не вредя пришельцам, заменял тогда черную и белую магию (не для Башкатова, тот и магию признавал), Чумака с Кашпировским, астрологов, слепого музыкального компилятора из секты Синрикё, одержимую белыми бесами непорочную киевскую девицу Цвигун. Из снежного человека позже произошли или даже вылупились лох-несские чудовища и пережившие мамонтов гигантские крокодилы в якутских озерах. Тогда ощущалось в публике, что снежного человека вот-вот отловят и в ходе развития мироздания случится нечто замечательное. У нас в редакции за снежным человеком с особым тщанием гонялись трое. И у каждого из них снежные люди были разные. Репортерша Марианна Градова (не раз выкрикивавшая в телефон, но на все коридоры: «Я не женщина, я – репортер Градова!»), та долго ждала обещанных вестей о каракалпакском Маугли, воспитанном в холмах Устюрта шакалами, варанами и змеями. Полетела к разысканному Маугли, слала после его мычаний шифрованные телеграммы в Москву, но отчего-то устюртского Маугли, достаточно шерстистого, велено было засекретить. Второй охотник, бравый мужчина с усами и локонами Арамиса Жорж Сенчаков, собирался в горы Дагестана за снежным человеком кавказской национальности. Прошу извинения, я забыл его специфическое прозвище, как-то на «к»… Нет, вспомнил – «каптар». Сенчаков приобрел горский кинжал, показывал его мне. Он располагал документами некоего геолога, цветного металлиста, с описаниями горного обитателя и фотографиями меховой фигуры в полный рост, но на дальней скале, и отпечатками нижних конечностей в снегу. В горах, пусть и с кинжалом, и с сетями, Сенчаков искомое не раздобыл. А когда в Москве он пришел к геологу с отчетом, тот, рассмотрев волосатую спутницу Сенчакова, Ингу, не выдержал и признался, что его документы-исповеди с фотографиями – розыгрыш и

мистификация. А Башкатов темнил, не хвастал, не сверкал кинжалами, а готовился к подвигу тихо. Однажды пропал куда-то, и через день забили в литавры: «Экспедиция профессора Поршнева обнаружила в одной из пещер на Памире снежного человека! В составе экспедиции – известный журналист В. Башкатов». Позже сообщили, что обнаружен не весь снежный человек, а лишь его скальп. Но и скальпа достаточно. Однако уже в Москве экспедицию ждал конфуз. Скальп, определили специалисты, принадлежал обезьяне. Причем не крупной. И неизвестно, по каким мотивам из теплых индийских или пакистанских зарослей двинувшей во льды Памира. Выходило, что ради посрамления известного профессора Поршнева и не менее известного энтузиаста В. Башкатова.

Вот к каким обидным воспоминаниям я отослал Башкатова своими уколами, вызвав, как выразился бы изящный редакционный стилист Бодолин, печальные звоны тонких струн души Башкатова. Я хотел было извиниться, но Башкатов вдруг заявил:

– Сам-то, скромный скромник, а на Цыганкову глаза вылупил!

– При чем тут Цыганкова? – растерялся я. – С чего бы глазеть на какую-то Цыганкову?

Но Башкатов продолжил атаку:

– А то я не вижу твоего интереса, вполне возможно, болезненного и даже неосознанного, при твоей-то стыдливости…

– Да вы все одурели, что ли? – расстроенно пробормотал я.

– А! Вот! – обрадовался Башкатов. – Не я один, значит, заметил… Думали, что ты на Чупихину глаз положил, а тут Цыганкова взяла и появилась… Тебя небось и К. В. уязвил… Представляю, что он тебе вообще мог наговорить… Ты-то сам никому не расскажешь об этом разговоре… Устыдишься! И почему солонка возникла в конце разговора?.. А с Цыганковой я не советовал бы тебе иметь дело…

– Это оттого, что ты сам крутишься у дверей школьного отдела?

Да что же это мы? Что же я? Будто мы стоим с Башкатовым между партами седьмого класса и собираемся после уроков стыкаться во дворе!

– Я-то что! Я-то ладно! – заявил Башкатов. – Я-то бабник! Опытный боец! А ты… Ну ладно, вернемся к делу. Запри дверь. Так будешь ты советником-консультантом?

– А не влипнем ли мы в историю, в какую не надобно совать нос?

– Может, и влипнем. Но это же будет одно удовольствие! Или ты дрейфишь? Если дрейфишь, ко мне не подходи и обо всем забудь!

– Но я…

– Но ты уже влип! – восторжествовал Башкатов. – Влип! И забыть о чем-либо тебе не дадут! В этой истории много линий. Ты пока состоишь в короткой внешней связке из трех видимых элементов: К. В. – ты, Куделин, – разбойники-грабители.

– Есть и четвертый видимый элемент, – сказал я. – Кочуй-Броделевич.

– Верно! Сечешь! – обрадовался Башкатов. – Всю подноготную Кочуй-Броделевича и его коллекции надо вызнать в подробностях.

– О ней писала Рюмина.

– Рюмина – дама поверхностная. И все выложила в заметке. А я разговаривал с Кочуй-Броделевичем… Коллекционерами, отринувшими его, я займусь сам. А ты… Сможешь ли ты со своими приятелями добыть или составить родословную Кочуй-Броделевича?

– Это дело выполнимое, – сказал я. – Хотя и не скорое…

– А Ахметьева?

– Что Ахметьева?

– Не могли бы вы, забравшись в бумаги, выковырнуть еще и родословную Ахметьева Глеба Аскольдовича? Особенно по материнской линии, там были какие-то немцы, бароны… И важно выяснить, не пересекались ли в веках кланы коллекционера и нашего златоуста.

– С чего бы вдруг тебя взволновал Ахметьев? – поинтересовался я.

– Но это ведь он сам пристал к тебе с солонками! И личность он демонстративно-оригинальная. Боярин, монархист, а пишет речи и мемуары главнейшим большевикам… Да… Ты, я вижу, фарфоровую ситуацию всерьез не воспринимаешь… А зря… Ну ладно. Солонку номер пятьдесят семь я верну тебе часа через два. И поверь мне: в ближайшие дни произойдет нечто, что заставит тебя устыдиться. А от Цыганковой ты отстань. Искренне тебе советую. Отопри дверь.

Уже перед дверью Башкатов сказал:

– Сейчас же разболтаю о возвращении солонки, и посмотрим, кто явится к тебе первым. Не удивлюсь, если им будет Глеб Аскольдович Ахметьев…

– Он в канцелярии Климента Ефремовича…

– Вернулся. Я видел его в коридоре.

Через полчаса в мою дверь постучали, и это явно была не Зинаида Евстафиевна, да она и стучала в редких случаях. Посетителем оказался Боря Капустин из отдела опять же науки. Рослый, худой, отчасти похожий на киевского футболиста Блохина, он был парень шалый, легкий на подъем, не менее склонный к авантюрам, нежели его коллега Башкатов. Но он не ловил снежных людей, его тянуло под воду в батискафах и ввысь на воздушных шарах, он пытался воскресить дирижабли и под покровом некоего оборонного института участвовал в опытах по выживанию. Его выбрасывали в сибирскую тайгу, пока – летнюю, на необитаемые острова в Охотском море без провианта и подсобных средств. И он выживал. Вид у него был озабоченный, он сразу заявил:

– Давай показывай!

– Она же у Башкатова, – удивился я.

– Нужна мне твоя солонка! Показывай ребра!

– Не сломаны. Ноет. Болит. Миозит. Следствия ушибов.

– А ноги?

– Ничего. Внизу – ничего, бедра в синяках. Гнуться больновато. Мениски целые.

– Суки! Из-за дерьмовой солонки! И К. В. хорош! А я только узнал. Против «Смены» все равно выйдешь. В ЦИТО свожу, на процедуры, мази подберем для грудной клетки и крестца, и выйдешь!

Интерес Капустина к моим травмам, болям и восстановлению физических совершенств организма был вызван не сострадательными свойствами натуры Капустина, не придремавшими в нем комплексами Эскулапа, а должностью капитана футбольной команды. Сам Капустин, в юниорстве – чемпион Москвы на сотке, десять и девять, играл у нас на левом краю.

– Ну, все, – сказал Капустин. – Вижу – ты будешь в норме. Должен тебя предупредить. Башкатов мне приятель, но ты мне нужен на поле в товарном виде. Тебя он намерен, я чую, вплести в интригу, которой ты рад не будешь. Держись от нее подальше.

После Капустина меня посетил редакционный денди и классик, по убеждению местных эмансипанс-дам, Дима Бодолин. Я даже привстал со стула от удивления. У кураторов, служебно-вынуждаемых посещать шестой этаж, встречи с Бодолиным в коридорах вызывали недоумения. Это художник, это артист, успокаивали их, его ранние рассказы хвалили Шолохов и Паустовский, он кончил ВГИК, сценарный, а у них сами знаете, какие привычки и манеры, какие там Софи Лорен и Брижит Бардо. Принадлежность Бодолина к ВГИКу должна была истребить всяческие опасения и оправдать пребывание в ответственной газете воздушного создания. Вот и автор «Председателя» учился во ВГИКе, плейбой и гуляка, а фильм его вышел государственный. Бодолин до автора «Председателя» пока не дорос, но мало ли что?.. Одевался он модно и дорого, вещи покупал в комиссионках и у фарцы, из-за нарядов мог бы попасть в фельетоны Комаровского как «вырокенроливавший» из стиляг. Любил носить

блузы живописца («только сейчас из мастерской»), длиннополую шинель без погон (то ли солдат, то ли полевой офицер), а то и ватники, опрятные, без следов и запахов трудовых усилий. Шею украшал бабочками, фигурными узлами шарфов, цветными платками, то ли барда, то ли флибустьера. Почти все взрослые родственники Бодолина были артистами, оперными, балетными, опереточными, иные из них – известными. Мать получила Народную еще до войны, отец отсидел в лагерях, вернулся домой никчемным стариком, но и теперь, рассказывали, был красив. Красота же Димы со влажностью очей была отчасти старомодной, будто бы из окружения Веры Холодной, какой-то томительно-знобкой, возможно, и именно чарующей (дам, естественно, дам, но мне их не понять). Успехи у Димы были легендарные… Среди работников газеты, чаще всего – довольно спортивных или просто озабоченных тяготами службы и быта, Дима выделялся своей барственной вальяжностью. И если с кем-то у него и было общее, то с Глебом Ахметьевым, человеком, в сущности, совсем иного склада. (Я перечитал написанное выше и понял, что мог создать – скорее всего и создал! – впечатление о Бодолине как о позере, пошляке, удачливом искусителе и вообще, если принять во внимание этические положения фельетонов Комаровского, как о личности, склонной ко всяким подлостям и пакостям (и имя ему следовало бы иметь Аркадий или Эдуард). Просто я плохо знал Бодолина и не имел к нему интереса. Он был мне чужой. Я вырос в иной среде, в иных привычках, в иной эстетике, наконец. Показно-презрительное отношение Бодолина к спорту, к спортсменам и вообще физически развитым людям как к быдлу рождало и мое презрительно-ответное отношение к Бодолину. При этом мое презрение было приправлено и жалостью. Но какое я имел право жалеть его или судить его? Меня создавала жизнь грубая, его – жизнь с иными словами, звуками, жестами и запахами. Мы не совпадали. Мне не по нраву была, в частности, манера его очерков. Ну и что? Ну и что?)

– Старик, – сказал Бодолин, – говорят, тебя одарили некиим художественным произведением. Не соизволите ли показать?

– Не соизволю, – сказал я.

– Отчего же так?

– Оно у Башкатова. На исследовании…

– А что ты так напрягаешься и ерепенишься?

– Твое… – Я чуть было не сказал «ваше», и это было естественнее при моих отношениях с Бодолиным, но тогда – по приличиям газеты – я отнес бы его к начальникам и тем бы оскорбил Бодолина. – Твое появление здесь меня удивило…

– Я – профессионал, – деликатно улыбнулся Бодолин. – Не уважаю в текстах неточности и ошибки, и стало быть, у меня не было поводов появляться у вас…

– А сейчас – что за повод? – спросил я по-прежнему без дружелюбия.

– Не повод, а причина, – сказал Бодолин. – Любопытство. Что за солонка такая?

– Обыкновенная солонка. Птица. По заключению Башкатова, сова. Но отчего-то похожая на Бонапарта. Коллекционный номер солонки – пятьдесят седьмой.

– Пятьдесят седьмой? – удивился Бодолин.

– Ну и что тут такого? – его удивление меня насторожило. – Ну, пятьдесят седьмой!

– Нет, нет, ничего, – замялся Бодолин. И замолчал. Тут же в комнату, без стука, как в свою, шумно и с запахами светской дамы, способной украшать своим присутствием и приемы, вошла Лана Чупихина.

– Куделин, – сказала она, – по-моему, пришла пора выпить по чашке кофе. Ба, да тут сам маэстро Бодолин. Вы секретничаете? Я вам не помешала?..

– Что вы, Ланочка! – поклонился ей Бодолин. – У нас разговор открытый…

– Да, мы кое-что обсуждаем, – более туманно произнес я. У меня не было нынче желания пить кофе на людях и в компании с Чупихиной.

Лана Чупихина, если не красавица, то, несомненно, женщина обворожительная, была теперь, особенно в сравнениях с новыми штатными дарованиями и стажерами-старшеклассницами, действительно светской дамой, одной из шести-семи местных светских дам, и действительно посещала приемы. Когда же в редакцию заезжали важные гости, Лану приглашали к комплиментарным столам

как эстетически совершенное добавление к коньякам, шампанскому, фруктам и интеллектуальным разговорам. Насыщенной прелестями была и вечерняя жизнь Ланы, ее знала вся достойная Москва, с общения на общение она возила себя на кофейной «Волге» богатого и взрослого мужа, отношения с которым у нее, как и у него с ней, сложились декоративно-необязательные. Писала Лана так себе, но красивую женщину, пышнотелую блондинку, редакция могла позволить себе держать и для целей представительских. Я был для Ланы никто, запасной или даже аварийный вариант, она не могла существовать без суеты обожания вокруг нее, без свиты или хотя бы одного кавалера. Сегодня никто не смог сопроводить Чупихину в буфет. Был бы я девицей, она вынудила бы меня составить ей компанию в туалете. Когда-то мы начинали с Ланой в том самом отделе студенческой молодежи. Оба были малоудачливы. Сострадание и жалость друг к другу сблизили нас. Мы чуть не стали друзьями. Мы чуть не стали любовниками. Я, во всяком случае, месяца два ходил влюбленным рыцарем. И Лана будто бы тепло глядела на меня. Но для нее это была игра, пусть и без корысти… Лана смотрела в будущее, а я в этом будущем не виделся даже титулярным советником. Теперь же целевой интерес Ланы к титулярному советнику меня нисколько не радовал.

– Лана, – сказал я, – у меня туго со временем, а состояние моего организма требует не кофе, а пива. Вот Дима Бодолин как раз намеревался пить кофе.

– Не скрою, Светлана Анатольевна, намеревался, – быстро согласился Бодолин.

– Очень рада. А этот Куделин-то каков! Зазнался! Нос задрал из-за своей солонки! – воскликнула Чупихина. Она была, я только заметил, в черных колготах, чрезвычайно модных в нынешнем сезоне, но пока редких. – Позволил себе даже увлечься недоступной лахудрой Цыганковой!

– Я слишком далек от нее, – сказал я, – чтобы определить, лахудра она или не лахудра. Но вы-то, может быть, с высот своей светскости не способны углядеть в ней гадкого утенка? Оттого и досадуете на нее…

– Все прелести этого так называемого гадкого утенка, – решительно сказала Чупихина, – состоят в том, что утенок разрешает себе не носить трусы и лифчики!

– Вот тебе раз! – взмахнул руками Бодолин, и можно было понять, что слова его относятся не к Цыганковой, а к неуместности и неприличию обсуждения отсутствующего здесь человека.

И Чупихина поняла это.

Удручавшую всех неловкость разметал Глеб Ахметьев. Он распахнул дверь и вошел в комнату так, будто его ждали, а он опаздывал. Спросил резко:

– Ну и где солонка? Номер ее пятьдесят седьмой?

– Номер ее пятьдесят седьмой, – сказал я. – А сама она у Башкатова. Он ее скоро вернет.

Но Ахметьев уже заметил Бодолина и Чупихину, смутился и замолчал. Те же, напротив, оживились. Я решил помочь Глебу.

– Как там достославный Климент Ефремович? Ворошилов, наш первый офицер…

Костюм Ахметьева, синий в полоску, жилет, бордовый галстук с разводами, бордовый же уголок платка, твердо выглядывавший из верхнего кармана, ботинки, начищенные будто бы негром преклонных годов, изучившим русский язык, подсказывали, что Ахметьев вернулся от одного из памятников.

– Маразматик и дерьмо! Он и в молодости был прохвост, а теперь и вовсе противен! – выругался Ахметьев. – Ладно. Я спешу к Главному. Зайду, расскажу.

«Зайду, расскажу» надо было понимать как «Зайду, поговорим о солонке…»

– Какие у него залысины благородные, – словно бы опомнилась Чупихина. – Как у Радищева…

– Или как у Чаадаева, – добавил Бодолин. Может, съехидничал.

Я все же не помнил, были ли у Чаадаева залысины. Я помнил его высокий лоб. Но ведь и мне иногда при взгляде на Ахметьева приходил на ум Чаадаев.

Я совсем уже было выпроводил Чупихину с Бодолиным к венгерским кофейным аппаратам, как взял и заявился Башкатов с окончательно обследованной им солонкой. Солонку захватили Чупихина с Бодолиным, а Башкатов наклонился ко мне и зашептал:

– У нее и голова отнимается… Подумай над моими заданиями. И не тяни… В ближайшие дни не то еще будет…

– Башкатов, – сказала Чупихина, – я, конечно, не Агата Кристи и тем более не ее старуха Марпл, но и мне очевидно то, что очевидно всем.

– И что же? – поковырялся в носу Башкатов.

– Это же ты все устраиваешь, Башкатов.

– Что все? – удивился Башкатов.

– Всю эту авантюру с фарфоровыми изделиями. И ограбление Куделина подстроил ты.

– Я… – серо-голубые глаза Башкатова расширились чуть ли не в ужасе.

– Нас же развозили в тот день в одной машине. Я видела, как ты нервничал. И ты знал, что Куделин был у К. В. и получил солонку. Как один из хранителей Музея ты торчал в доме Кочуй-Броделевича и хорошо изучил его коллекцию…

– Господи, да зачем же мне вся эта авантюра? – недоумевал Башкатов. Но он был растерян.

– А я откуда знаю, Башкатов? – протянула Чупихина. – Всем памятны твои розыгрыши. И Голощапова ты сделал посмешищем, даже двух свидетелей из Америки изготовил… А сбор подписей под некрологом Михалкова, баснописца-громовержца…

– Ну, это на первое апреля, – Башкатов будто оправдывался. – И по большой пьяни…

– Розыгрыш был, конечно, мрачноватый и даже жестокий, – сказал Бодолин, – но изящный и в своей черноте…

– По пьяни, – повторил Башкатов. – По большой пьяни… А тут я трезв… А с таким же основанием можно подозревать и Ахметьева…

– Ахметьев в тот день не дежурил и ушел с работы часов в восемь…

– Ну и что? Мог позвонить диспетчеру разъездов и узнать, кого и во сколько отправят. С нами в машине ехал его сотрудник Мальцев. А Ахметьев явно озабочен событиями с солонками…

– Ты, Башкатов, в свой сюжет мог включить и Ахметьева, втемяшить ему в башку черт-те что, заставить поверить в четырех каких-то убиенных, он и озаботился… Ты и Мальцева мог включить в предприятие… Или они тебе подыгрывают…

– Чупихина, а ты ведь тоже ехала с нами в машине, – сказал Башкатов. – И устроила Куделину засаду в сговоре с К. В.

– Окстись, Башкатов! – всерьез запротестовала Чупихина. – Окстись! Я и не знала, что Куделин ходил к К. В.

– Это еще надо проверить, – строго сказал Башкатов.

– Башкатов, может, ты и развлекаешься! – вновь воскликнула Чупихина. – А может, имеешь при этом и иную цель. Или эту цель тебе навязали внешние силы? Но не вовлекай в свои или чужие игры Куделина. Мы-то ладно, люди ушлые. А он-то простодушный простофиля. Я его беру под свою опеку и в обиду не дам!

– Я не нуждаюсь ни в чьем опекунстве! – раздосадованно произнес я.

– Чупихина, а что, у тебя на Куделина особые права? – поинтересовался Башкатов.

– Мы с ним… У нас с ним… – смутилась Чупихина. И, чтобы не допустить ложных толкований, разъяснила: – Мы с Куделиным долго маялись вдвоем в памятном

студенческом отделе…

– Скованные одной цепью, – подсказал Бодолин.

– Можно сказать и так, – кивнула Чупихина.

– Мне надоело это глупейшее обсуждение, я пойду, – сказал Башкатов. – Тебе, Куделин, еще придется выслушать некоторые мои слова.

Намерению его удалиться помешала возникшая в дверном проеме лахудра Цыганкова.

Прежде я наблюдал лахудру лишь издалека. Ну, не издалека. А на расстоянии. Но наблюдал много раз.

Судачили о ней в редакции всяко. На днях я вновь услышал о ней – Сорвиголова и Оторви да брось. Именно про такую, уверяли, поется в известной песне на мотив «Кирпичиков»: «На окраине Рощи Марьиной на помойке девчонку нашли. Сперва вы… мыли, потом вы… терли. И опять на помойку снесли». На планерках нередко сетовали: в героях у нас – одни лишь правильные школьники, а где улица, где подворотня, где притоны, где волны сексуальной революции в школе, где неформалы, где хиппари, где прочие, где боль за них, где их голос и их амбиция? И вот сыскали этот голос – некую Цыганкову. Нина Соловьяненко, редактор школьного отдела, всегда привечала парнишек и девчушек, пусть и всклокоченных, пусть и с перевернутыми представлениями об истинных ценностях, но не подлых и умеющих рассказывать об особенностях собственных и своих ровесников. Цыганкова, под псевдонимами, писала заметки (условно – заметки) именно из подворотни, притонов, стоянок хиппарей. Оказалось, что у нее есть слог, нервно-ломаная ее писанина, вроде бы корявая, с грубостями, с неожиданными словечками и сленгом, производила странное действие, но впечатляла свежестью чувств и информации. На моих глазах в большой комнате отдела Цыганкова писала на полу, разлегшись вольно и не обращая внимания на переступавших через нее сотрудников. «Элиза Дулитл!» – пришло мне в голову, я ее пожалел. «Уж не намерен ли ты стать полковником Пикерингом?» – спросил я себя. Мало ли кем я был намерен стать… И кого-то – лицом и движениями – она мне напоминала… Нравственные педанты фыркали при упоминании Цыганковой. И действительно, она выросла на помойке и, видно, не закончила четырех классов, живет в подворотне, курит травку, не может без группового секса, от

этой грязной швали надо держаться подальше, иначе заразишься, и неизвестно чем, в газете есть рубрика «Журналист меняет профессию», так вот Цыганкова нырнула в проститутки, готовит «Исповедь блудницы». Ну и что, отвечали им, вы-то от нее не заразились, а газету хватать будут, мы получим гвоздевые публикации.

– Куделин, – сказала Цыганкова, – говорят, ты самый… этот… вундеркинд в газете и щелкаешь кроссворды…

В руке у нее была газета, в другой – ручка.

– Конечно, Юлечка, конечно! – Башкатов в мгновенье стал изящным и ласковым рыжим котом. – В кроссвордах он истинный ундервуд и копенгаген!

– Вопрос, – сказала Цыганкова, голос у нее был хриплый, прокуренный, низкий. – Мифическое существо с телом быка, символ чистоты и девственности. Восемь букв. Первая «е».

– Ой, Куделин! Ой, не могу! Это же про тебя! – расхохоталась Чупихина. – Это же надо! В самую точку!

И рыжий кот Башкатов рассмеялся, смех укротить не смог.

– Единорог, – сказал Бодолин. Он тоже развеселился.

– Единорог? Подходит. Куделин, верно, что единорог? – Цыганкова смотрела только на меня.

– Единорог… – выдохнул я. – Верно.

– А что ты такой медлительный? – спросила Цыганкова.

– Девочка, он не только медлительный. Он… – не могла остановиться Чупихина.

– У моей старшей сестры в студенческие годы был знакомый Куделин, – сказала Цыганкова. Она стояла, прислонившись к дверному косяку, изогнув бедро, и словно бы никого в комнате не видела. Кроме меня. Я же глядел на ее ноги в

ссадинах, и в голове у меня вертелось глупейшее соображение: «На таких коленях можно написать много шпаргалок».

– Я не помню никакой Цыганковой, – сказал я. – Может, и знакомился, но не помню…

– Тот Куделин с сестрой дружил. Ее зовут Виктория.

– Я не знал никакой Виктории Цыганковой. – Теперь я говорил чуть ли не раздосадованно.

– Я так и подумала, что ты не тот Куделин, – покачала головой Цыганкова. Она по-прежнему смотрела только на меня, отчего мне было не по себе, а все в комнате притихли. – Но я серьезно младше сестры. И она папина дочь, а я – мамина. Когда я получала паспорт, папаша был временно в бегах, и я взяла мамину фамилию. А у отца фамилия – Корабельников…

Так… Еще раз приехали… Викина сестра… Элиза Дулитл! Эта Элиза в шестом классе знала три языка…

– Спасибо за единорога, – сказала Цыганкова. И бросила уходя: – Сестра моя, увы, сейчас не в Москве. Она живет в Англии…

– Она, по-моему, с приветом, – сказала Чупихина ей вслед. – Глаза-то у нее какие!

– Напрасно ты, Лана, – сказал Бодолин. – Глаза у нее очень красивые. И в ее приходе, видимо, был смысл.

А Башкатов стоял опечаленный.

Но предсказания его сбывались. Лишь появился я на следующий день на шестом этаже, услышал: умер Чукреев. Говорили и ахали громко. А шепотом добавляли: перерезал вены, вызвали «скорую», но опоздали.

С Чукреевым, совершенно неприметным мужичком лет сорока (оказалось – сорока четырех), за четыре года я имел всего лишь два мимолетных разговора ни о чем, дела наши никак не пересекались. Должность Чукреев занимал – при произнесении вслух – очень важную. Ответственный секретарь. В действительности же он ничего не значил. Как-то завели в областях по два Первых Секретаря обкома, промышленного и сельского. Сейчас же вскипела всеобщая кампания по раздвоению начальства. У нас в газете в штатном расписании своевременно обнаружился еще один ответственный секретарь. Чукреева на эту должность, курировать сельские темы, выписали из собкоров по Оренбуржью. Журналист он был посредственный и в Москве растерялся (квартиру, правда, получил хорошую, трехкомнатную). Существовавший прежде единственным ответственным секретарем Роберт Степанович Мелкасов, человек честолюбивый и хрупко-ранимый, поначалу не реагировал на пребывание рядом, в параллельном измерении, Чукреева. Но потом изобретательно-тонко стал создавать ситуации, из которых вытекало, что труды этого дурака бесполезны для газеты (впрочем, для Роберта Степановича все люди по отдельности и в целом были дураки и его замыслам и талантам лишь мешали). Со временем кампания с двумя секретарями обкомов стала казаться сомнительной, высмеивалась куплетистами Рудаковым и Нечаевым, а Чукреева вытеснили в угол, занимался он какой-то чепухой, оценивал работы собкоров. А и без него существовал отдел собкоровской сети. В общем, в профессиональных делах ему было несладко.

Я был одним из последних, кто узнал о кончине Чукреева, и мне пришлось выслушать несколько версий происшествия с намеками и многозначительными придыханиями. Мне знакомо свойство людей осведомленных получать удовольствие от передачи сведений, удививших их часами раньше, поутру, человеку «проспавшему», обделенному этими сведениями до обеда. Тут сочетались сорочье нетерпение проговориться и желание создать видимость собственной заслуженной посвященности в секреты, «а тебе всего открыть мы не можем». По этому поводу, но существенно более значительному, вспомнился мне октябрьский день шестьдесят четвертого года. А именно – 16 октября. В тот день открывались летние Олимпийские игры в Токио. Меня ввели в олимпийскую бригаду (на сами Игры обычно – по деньгам – посылали двух-трех журналистов, их репортажи и тассовскую информацию обрабатывали, переписывали в Москве люди, собираемые из разных отделов, Марьина направляли туда стилистом и

правщиком, я же пригодился как знаток спортивной статистики, меня определили в надсмотрщики над техническими результатами, следить за точностью циферок – метров, секунд и т. д.). Сидеть нам в редакции предстояло, возможно, до утра, и на работу мы явились в три дня. На нас и навалились. «Вы что, и радио не слушали?» – «А что такое?» – «Никиту сняли!» И началось. И криком, и шепотом: «Переворот! Завтра сажать начнут… Нашу фронду – непременно… Зятя уже погнали…» Что печатать, кроме – черными, жирными буквами – информации о решении Пленума, никто не знал. Нам сказали: забивайте своими олимпийскими материалами хоть три полосы. А что предлагать? В Токио от полной неизвестности растерялись. Руководитель нашей делегации, молодежный вождь, получил телеграмму: «Срочно вылетай, заболела бабушка». И летел через вражеский Сайгон, в аэропорту не выходил из самолета. От наших репортеров мы получили строк тридцать. И тогда умельцы из отдела спорта сотворили отчет страниц на двадцать пять о всем, чего они не видели, но что в Токио непременно произошло. Пошло в ход и мое досье. В студенческие годы у меня была блажь: собирать вырезки о всяческих спортивных кумирах. Да и свежая, не забитая позднее информацией моя память позволяла мне держать в голове даже и результаты скромнейших забегов в Кудымкаре или на гавайском острове Нуруа. В тот день я оказался в газете не лишним. Тяжче всего бригаде было с подзаголовками темпераментного токийского отчета. Номер вел ехидный Агутин, главный соперник К. В. в чиновничьей толкотне, он потирал руки, К. В. же притих, угнетенный судьбой светлейшего Зятя. Агутин выглядел нервно-возбужденным. Но и он был растерян и, похоже, не сознавал, что будет завтра. А потому все предложенные бригадой аншлаги, выносы в рамки, анонсы сюжетных смыслов и подзаголовки сразу же отметал с руганью: «Вы хотите, чтобы газету завтра разогнали? Что вы суете мне вашу спортивную дребедень – „Победил сильнейший“! Или – „Голиаф одолел Давида“. Или – „У кого провал, у кого золотой бал!“ Что и кого вы имеете в виду? Вы поглядите на первую полосу! А это что? „Ненавидеть врагов – пустое занятие“? Это слова Юрия Власова? Ну пусть Власов и подотрется ими!» Даже простейший и тихий, как замерзающий мухомор в октябрьском лесу, заголовок «Наша первая золотая медаль» и тот был забракован. Прошли слова самые смиренные и фамилии спортсменов рядом с ними, чтобы ни о ком другом и подумать было нельзя. Тот номер я храню… А с ребятами из спортивного отдела я стал ходить в приятелях…

Почему я описал здесь тот октябрьский день? Показалось надобным.

Теперь, стало быть, Чукреев.

Мне захотелось поговорить с Башкатовым. А тот сам углядел меня в коридоре и повлек к себе. Комната его была пуста.

– Ну, – зловеще произнес Башкатов. – Что я говорил?

– При чем здесь Чукреев?

– А при том! При том! – Башкатов приоткрыл дверь, убедился, что за ней никого, дверь прикрыл, остался стоять к ней спиной. – Два дня назад Чукреев был у К. В. на приеме.

– И что?

– И то! – Башкатов перешел на шепот. – Никакого фарфорового изделия по окончании разговора К. В. Чукрееву не вручил.

– Если бы я не получил солонку, мне следовало бы вешаться или резать вены?

– Какой ты, Куделин, все же прямолинейный! – поморщился Башкатов. – Но, надеюсь, ты не поверил в версию этой ехидны Чупихиной?

– А что К. В., – спросил я, – мог наговорить Чукрееву такого, что тот расхотел жить?

– Не знаю, – сказал Башкатов. – Может, что и наговорил. Но вряд ли беды Чукреева были в его интересах. Чукреев раздражал Мелкасова, но был ставленником Агутина, то есть на этом инструменте К. В. мог бы выводить и собственные рулады… Да, Куделин, а что ты валял дурака, делая вид, что незнаком с Цыганковой?

– Я видел ее пятиклассницей три или четыре раза, – сухо сказал я. – Теперь я ее не узнал.

– А со старшей сестрой, Корабельниковой в девичестве…

– Да, – помолчав, сказал я. – Я дружил с ней.

– Корабельников – фамилия громкая. – Башкатов отправил палец в ноздрю. – А я знаю, стало быть, мужа этой неизвестной мне Виктории, хлыща-дипломата, который нынче в Англии…

– Не имею чести…

– Где тебе, – согласился Башкатов. – А я и не рад, что имел честь. Сука порядочная… А как уязвила-то тебя Цыганкова Единорогом! Я ж тебе говорил: держись от нее подальше.

– Это мое дело, – сказал я. – И я с ней не общаюсь.

– Вот и хорошо, – сказал Башкатов. – И не мешай мне. У меня на Цыганкову виды. Пусть и временные.

– И это при жене и двух дочерях?

– Ты, Куделин, – рассмеялся Башкатов, – истинно – Единорог! Впрочем, такие блаженные болваны особенно опасны. К сожалению, во всем. Как эта Вика Корабельникова предпочла тебе карьерного циника? Или она такая же шальная, как ее младшая сестренка?.. И что в тебе увидел К. В.? А он что-то увидел или узнал. Тебе неведом К. В. И ты не знаешь, что он видит в тебе. И я не знаю этого… Кстати, ты лебезил перед ним?

– Я? Лебезил… – растерялся я. – Это, может быть, ты когда-нибудь лебезил перед ним? Оттого и спрашиваешь?

– Да, лебезил. И не раз. Такая подлая натура, – сказал Башкатов. – Все. Перейдем к делу. В том, что ты напряг своих архивистов по поводу родов Кочуй-Броделевича и Ахметьева, я не сомневаюсь.

Верно. Я рассказал историю с солонкой и коллекцией Кочуй-Броделевича Алферову и Городничему, те засверкали очами. Озадачивать ли их родовым древом Ахметьева, я долго не решался. Одно дело откапывать дворянские корни покойника, другое дело – соваться в судьбу процветающего молодого человека, ему-то знанием исторических подробностей можно было и навредить. Но в конце концов я рассказал Алферову с Городничим и про Ахметьева («А что он морочит

мне голову четырьмя убиенными?»), взяв с них слово: никаких невыгодных Ахметьеву мелочей в воздухи не выпускать. Кому нужно, те и сами, о ком пожелают, все добудут.

– А не размышлял ли ты, Куделин, – сказал Башкатов, – отчего и Ахметьева, и Бодолина заинтересовало то обстоятельство, что номер твоей солонки пятьдесят седьмой?

– Владислав Антонович, а не кажется ли тебе, что кто-то намерен всеми этими солонками с их номерами подтолкнуть кого-то, предположим, что нас с тобой, а может, и не нас с тобой, а еще кого-то, подтолкнуть к банальности – двенадцать стульев, голубой карбункул, рождественский гусь и так далее? Неизвестно зачем. Как неизвестно зачем ты обращаешь мое внимание на другую банальность: старшая сестра, младшая сестра, хлыщ-муж, увезший старшую сестру в Англию…

– За многими тайнами, – вздохнул Башкатов, – укрывались банальности. Или простые случаи.

– И что же ты полагаешь делать дальше с этими солонками?

– Не знаю. Пока не знаю… Пока ходы не наши. Да мы ведь и не игроки, а зрители. Будем поджидать ходы главных игроков. Терпение, терпение…

– Говорят, Чукреев оставил какое-то письмо…

– Я не знаю его текста… Я не член редколлегии… Тебя небось сунут в похоронную команду, не отказывайся… Может, чего и услышишь… А Цыганкову надо уберечь от ее дурацких увлечений.

– Твое дело, – сказал я. – Мне ее увлечения неизвестны.

9

Нельзя сказать, чтобы разговор с Башкатовым нечто мне прояснил.

Мои сомнения по поводу самого Башкатова и его участия в приключениях солонок никоим образом не были отменены. И слова Чупихиной я не забыл. Надо было только обтолковать, какие туманы он подпустил сегодня, если подпустил, и чем все-таки я был ценен ему в его расследованиях или его авантюрах.

Про Цыганкову я ему не врал. Относительно не врал. А если и врал, то прежде всего – самому себе.

Действительно, в общения с ней я не вступал. И не был намерен вступать. И ощущал опасность, какую необходимо было избежать.

Отец поучал меня редко. Но несколько раз я слышал от него выстраданное: «Не суйся туда, куда не следует соваться», обращенное скорее к самому себе, а уж потом к сыну, то есть ко мне, и к жене, моей матери. Я знал, чем были вызваны эти слова, помнил чувства, с какими они произносились, они были истинными. Но мое понимание опасностей и пределов приближения к ним существовало само по себе, как нечто единичное, собственное, воспитанное во мне зуботычинами жизни, потерями душевного покоя, укорами чести, выбрасываниями меня из устойчивости мироощущений в грязи и несоответствия идеалам. При этом опасности были разные. Иные из них могли и увлечь в свои омуты.

Скажем, совершенно не следовало мне соваться в историю с солонками. Но звенело во мне (пока) бесшабашное: «А-а! Что будет, то будет!», и опасность представлялась воздушной, надбытовой, заманивающей, подобно опасности спортивной: «Клюшки наголо! И на лед!» И я был уверен, что всегда сумею, коли будет нужда, ушмыгнуть от засад и разбойников через улицу и в проходные дворы. Но в случае с Цыганковой ушмыгивания и проходные дворы были невозможны. Происходили уже в моей жизни и ушмыгивания, и проходные дворы. Сейчас любое общение с Цыганковой, пусть и самое прохладно-протокольное, могло привести к возвращению в прошлое. Нет, и не к возвращению, а, что еще хуже, к повторению прошлого.

Но повторение это вышло бы односторонним. Лахудра Цыганкова явилась ко мне с расчетом и домашней заготовкой. Ну, кроссворд с единорогом она, скорее всего, притащила и не заготовленный, а горячий, с пылу с жару, это не меняло сути. Разговора со мной, хотя бы и немого, она ждала, возможно, долго и нетерпеливо. Мифологический персонаж способен был лишь подтолкнуть ее к действию. Свидетели, скорее всего оказавшиеся лишними, помешали ей

высказаться определеннее. С чем явилась ко мне Юлия Ивановна? Перчатку ли она бросила мне, объявив войну? Отмщение ли назначила за сестру или уже произвела его, высказав мне свое брезгливо-презрительное отношение прилюдно? (Вот и свидетели оказались хороши.) Мне не дано этого было понять. Что слышала обо мне Юла-Юлька от своей старшей сестры (я и вправду видел Юлу раза три, ну побольше, и запомнил ее ехидно-вредной соплячкой), что нафантазировала сама, какие предположения выстроила о моих значениях в судьбе ее сестры, любила ли она старшую («папину дочку») или не переносила ее, кто она сама: фурия или ангел (глаза-то лучистые, ангельские, но не кроткие) или падший ангел? Обо всем об этом я хотел бы знать. Но положил себе: ничего не вызнавать. Особенно от Цыганковой. Я должен был от нее шарахаться («Чур! Чур меня!») и не откликаться ни на одну из ее реплик.

Но шарахаться необходимости не возникало. Мы нигде не сталкивались с Цыганковой. Она, видимо, забыла обо мне. Исполнила долговременно лелеемое, унизила меня, пощечину влепила при свидетелях, и все? «Неужели все?» – сокрушался я. Эти сокрушения разозлили меня. Что за бред (с пощечиной) я выстраиваю и о чем сокрушаюсь? Я сейчас же, чтоб отвлечься от моих сокрушений, вернулся к мыслям о не высказанном в разговоре с Башкатовым. Если каша заварена, то заварил ее прежде всего Кочуй-Броделевич!

Его коллекция! Какие-то ее тайны. Что случилось с самим Кочуй-Броделевичем? От чего он умер? Почему его смерть иные называли неожиданной? Кто его враги? Какие коллекционеры строили ему козни? И наверняка среди них были такие, кто сам подбирался к собранию Броделевича или части его. Хитрец Башкатов, возможно, многое вызнал, но от меня утаивает. Коли что добудут Алферов с Городничим, придется устраивать с Башкатовым обмен сведениями. И надо заняться Светой Рюминой. Она как будто бы приветлива со мной. Башкатов объявил ее глупой и неучем, бранил ее за то, что она поверхностно отнеслась к коллекции и судьбе Броделевича. Но очень может быть, что он говорил мне неправду.

Позвонили. К себе вызывал комсорг Дима Трощенко. Причина вызова была мне ясна. Я пообещал: «Сейчас». Сам же вырвал листок из блокнота и набросал: «1. Кочуй-Броделевич. Тайна коллекции. Или тайна, неизвестная ему самому, но упрятанная в коллекции: драгоценности, шифр, карта клада, важные для кого-то документы и др. 2. Есть ли у Кочуй-Броделевича наследники, и если есть, что им досталось и что они хотели получить. 3. Коллекционеры, их интриги и интересы. 4. Не арестовывали ли кого из родственников Броделевича в 17 или

37, и не сунул ли один из них при аресте в солонку бумаги или вещи. 5. Скворцова…»

Опять звонок. «Куделин, долго тебя ждать!» Я схватил сумку из-под стола, сунул только что исписанный листок в один из бутсов за стельку и отбыл к комсоргу Трощенко. Как и предполагал ведун и старец Башкатов, меня назначили в похоронную команду. В нее обычно вгоняли самых младостажных и малозначительных работников редакции, но физически надежных. На этот раз со мной в части команды оказались Мальцев (этот – «значительный, но без году неделя»), юморист-оптимист Резвенников и стажер Алексашин. Нам полагалось утром быть на кладбище в Царицыне, присматривать, чтобы могильщики все делали как надо и вовремя, а в случае чего трясти перед директором кладбища удостоверениями, а когда подъедет процессия, нести гроб.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Как публикатор записок Василия Куделина обязан сообщить, что все события и персонажи их автором выдуманы. Однако не исключено, что подобная история могла произойти в многовариантности нашего бытия. – Владимир Орлов.

2

Здесь и в ряде других мест сохранена орфография, являющаяся неотъемлемой частью авторского стиля. – Примеч. ред.

Купить: https://tellnovel.com/ru/vladimir-orlov/bubnovyy-valet

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить